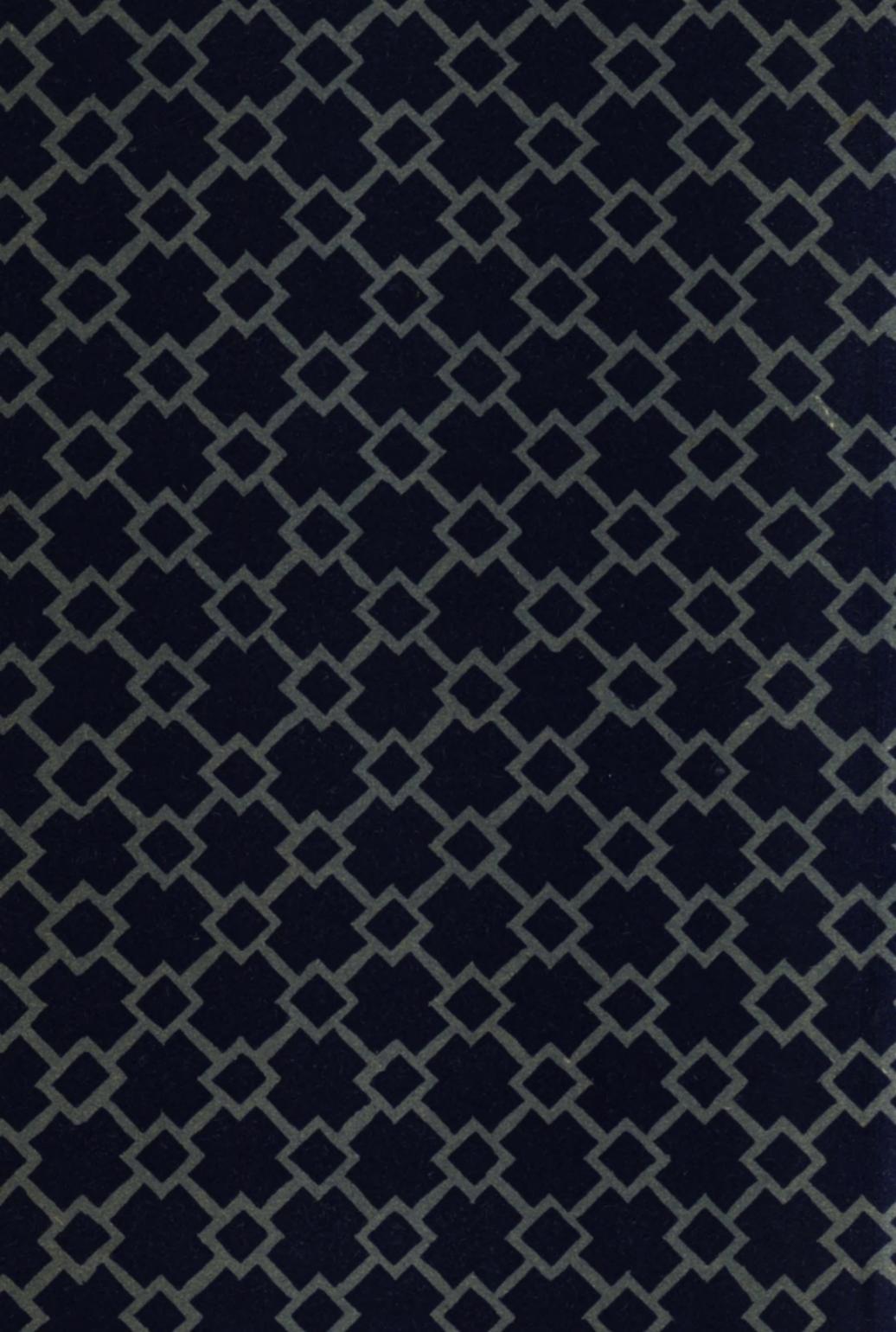


☀
СТЕФАН
ЦВЕЙГ

—
• В р е м я •









**Stefan Zweig
VERWIRRUNG
DER GEFÜHLE**

**Обложка работы
М. А. Кирнарского**

1929

СТЕФАН ЦВЕЙГ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

СТЕФАНА ЦВЕЙГА

АВТОРИЗОВАННОЕ ИЗДАНИЕ

С ПРЕДИСЛОВИЕМ
М. ГОРЬКОГО

И КРИТИКО-БИОГРАФИ-
ЧЕСКИМ ОЧЕРКОМ
РИХАРДА ШПЕХТА

ТРЕТЬЕ ИЗДАНИЕ

ТОМ

III

КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ»

ЛЕНИНГРАД

СТЕФАН ЦВЕЙГ

СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ

П Е Р Е В О Д

П. С. БЕРНШТЕЙН И

С. М. КРАСИЛЬЩИКОВА

· КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ»

ЛЕНИНГРАД

Ц Е П Ь
ЦИКЛ НОВЕЛ
ЗВЕНО ПЕРВОЕ
ЖГУЧАЯ ТАЙНА
ЗВЕНО ВТОРОЕ
А М О К
ЗВЕНО ТРЕТЬЕ
СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ

**Феликсу Брауну,
испытанному другу**

Ты вновь зовешь от ясности отрадной,
Мятежный гений творческой игры,
В глухие недра, в спутанные жадно
Трущобы сердца, смутные миры?

Лишь там, лишь там, в сплетении жестоком,
Я чувствую, стихает наш разлад.
Мы, бодрствуя, враждуем с каждым роком,
И пропасти соблазна нас страшат.

В нас кровь и дух раздельным тлеют жаром.
И лишь судьба, клубясь под небесами,
Их плавит вместе молнийным ударом.

В нас правды нет, пока мы правим сами,
Пока не грянут грозовые дали,
Чтоб духом кровь и кровью дух вспыхали.

Перевел *М. Лозинский*.

**ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ЧАСА
ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ**

ПЕРЕВОД С. М. КРАСИЛЬЩИКОВА

В маленьком пансионе на Ривьере, где я жил лет за десять до войны, как-то за столом завязался жаркий спор, грозивший перейти в яростное препирательство и чуть ли не во взаимные оскорбления и обиды. У людей большей частью косное воображение. То, что непосредственно их не касается, что не проникает в самую глубь их чувств; вряд ли может их тронуть. Но порою, если на их глазах произойдет что-нибудь самое ничтожное, но близкое их переживаниям, их страсти вдруг неудержимо возбуждаются. Свое обычное безучастие они в известной степени вознаграждают в таких случаях безудержной и непочтой пылкостью.

Так случилось и на этот раз в нашем вполне буржуазном застольном обществе, которое обыкновенно мирно болтало, обменивалось невинными шутками, редко глядело друг другу в глаза и сразу же после обеда разбредалось кто куда: немецкая чета — гулять и фотографировать, мирный датчанин — к своим скучным удочкам, важная английская дама — к своим книгам, итальянец с женой — в легкомысленное Монте-Карло, а я — бездельничать в садовом кресле или работать. На этот раз, однако, благодаря ожесточенным прениям, все сцепились друг с другом, и если один из нас стремительно вскакивал, то вовсе не для того, чтобы приветливо распрощаться, а просто в возбуждении спора, который, как я уже сказал, принял под конец прямо-таки неистовые формы.

Что же до случая, который так взбудоражил наш маленький кружок, то он, без всякого сомнения, был достаточно поразителен. Пансион, в котором мы все семеро жили, занимал отдельную виллу (ах, какой чудесный вид открывался из окон на изрезанный скалами берег!), но в то же время являлся, собственно говоря, только отделением большого «Палас-Отеля», с которым соединялся садом, так что мы, хоть и жили особняком, все же находились в постоянном общении с гостями отеля и принимали участие в его жизни и празднествах. Как-раз накануне в этом отеле разыгрался классический скандал, который дал бы репортеру парижской газеты богатую канву для романической истории с жирнейшим заголовком. С поездом в 12 часов 20 минут дня (время необходимо указать точно, ибо оно важно и для этого эпизода и как тема нашего разговора) прибыл молодой француз и занял комнату с видом на море, что уже само по себе свидетельствовало об известной состоятельности. Не только своей безупречной эlegantностью обратил он на себя наше внимание, но прежде всего исключительно привлекательной красотой: светло-шелковистые усы осеняли посреди тонкого девичьего лица чувственные, горячие губы, на белый лоб спускались мягкие, волнистые каштановые волосы, мягко глядели глаза, — все в нем было мягкое, нежное, приятное, и притом без всякого притворства и искусственности. Если на первый взгляд он издали и напоминал немного те накрашенные, самодовольно подтянутые восковые фигуры, которые с франтовской палкой в руке изображают в витринах ателье мод как бы парфюмерный, олеографический идеал мужской красоты, то при ближайшем рассмотрении это впечатление фатоватости исчезало, потому что его постоянные улыбки, его приветливость были врожденными. Проходя, он скромно и в то же время

сердечно приветствовал каждого, и было приятно видеть, как при всяком случае невольно сказывались его изящество и воспитанность. Даме, которая подходила к вешалке, он спешил подать пальто; для ребенка у него всегда был ласковый взгляд или шутка; он был обходителен и вместе с тем сдержан; словом, он казался одним из тех счастливых людей, которые, чувствуя, что другим приятно их светлое лицо, их молодое обаяние, и сами невольно становятся веселыми и уверенными и своей беззаботной радостью вселяют бодрость и в окружающих. На стареющих и хворых, большей частью, гостей отеля его присутствие действовало благотворно, и своей юношески-победной походкой, своей легкостью и жизнерадостностью он сразу завоевал всеобщее расположение. Уже через два часа после приезда он играл в теннис с двумя дочерьми толстого, солидного лионского фабриканта, двенадцатилетней Аннет и тринадцатилетней Бланш, а их мать, красивая, изящная и сдержанная мадам Анриет, улыбаясь, смотрела, как ее неоперившиеся и бессознательно кокетливые дочурки флиртуют с молодым незнакомцем. Вечером он посидел у нас за шахматным столиком, скромно рассказал два-три милых анекдота, долго расхаживал потом с мадам Анриет взад и вперед по террасе, между тем как ее муж играл, как всегда, в домино с одним из своих приятелей, а поздно вечером я видел, как он довольно непринужденно беседовал в тени бюро с секретаршей отеля. На другой день он сопровождал моего датчанина на рыбную ловлю, причем обнаружил в этом деле поразительные познания, потом долго беседовал с лионским фабрикантом о политике, показав себя при этом хорошим собеседником, потому что сквозь шум прибора слышался раскатистый смех толстого господина. После обеда (с точностью отмечаю его времяпровождение, так как это

необходимо, чтобы хорошо уяснить себе ситуацию) он около часа сидел с мадам Анриет в саду за черным кофе, потом играл в теннис с ее дочерьми, беседовал в зале с немецкой четой. В шесть часов, когда я шел отправить письмо, я увидел его на вокзале. Он подошел ко мне, все с той же подкупающей непринужденностью, словно мы были знакомы годами, хоть и показался мне не таким спокойным как накануне, и сказал с каким-то подчеркивающим ударением, что сейчас он должен уехать, но дня через два снова вернется. И действительно, за ужином его не оказалось,—не оказалось лишь его особы, ибо за всеми столами говорили только о нем, превознося его милое, веселое обращение. Ночью—было, вероятно, около 11 часов—я сидел у себя в комнате, дочитывая книгу, как вдруг из сада донеслись взволнованные крики и зовы, а напротив, в отеле, поднялось какое-то движение. Скорее обеспокоенный, чем из любопытства, я тотчас же спустился вниз и подошел к возбужденным гостям и слугам. В то время как фабрикант, со своей обычной пунктуальностью, играл в домино с одним приятелем из Намюра, мадам Анриет, как всегда, пошла погулять вдоль береговой террасы и не вернулась. Боялись, не случилось ли с ней несчастья. Как бы, бегал по берегу этот всегда солидный, неуклюжий человек, и, когда он не своим от волнения голосом кричал во тьме: «Анриет, Анриет!», в этом крике было что-то страшное и первобытное, напоминавшее вой раненого на-смерть чудовища. Кельнеры и мальчики, сломя голову, носились вверх и вниз по лестнице и по береговой дороге вплоть до самого моря, будили постояльцев и спрашивали их, не видали ли они пропавшую, телефонировали в полицию. А толстый человек, с расстегнутым жилетом, бегал, спотыкался и, совершенно обезумев, всхлипывая, кричал в темноте: «Анриет, Анриет!».

Меж тем проснулись и дети и в своих ночных платьицах звали из раскрытых окон мать. Тогда отец поспешил к ним наверх, чтобы успокоить их.

И вот случилось что-то страшное, с трудом поддающееся рассказу, потому что в минуты непомерного напряжения образ человека становится так трагичен, что невозможно с той же молниеносной силой передать его кистью или пером. Внезапно показался этот грузный, широкий человек и спустился по скрипящим ступеням, с изменившимся, совершенно усталым и все же яростным лицом. В руке он держал письмо. «Отошлите всех! — еле внятным голосом обратился он к управляющему. — Отошлите людей, ничего не нужно. Моя жена покинула меня.»

В нем была выдержка, в этом пораженном насмерть человеке, — нечеловеческая выдержка перед всеми этими столпившимися вокруг людьми, которые сначала с любопытством смотрели на него, а потом, вдруг, испуганно, сконфуженно и растерянно отвернулись. У него еще хватило силы пройти мимо нас, не взглянув ни на кого, и потушить свет в читальной. Потом мы услышали, как его большое, грузное тело упало в кресло, а затем — какое-то дикое, звериное всхлипывание. Так плакать мог только человек, который никогда не плакал. И эта простая боль заставляла молчать всех, даже самых пошлых. Никто из лакеев, никто из гостей, которых привело сюда любопытство, не посмел улыбнуться, проронить соболезнующее слово. Безмолвно, словно пристыженные этим страшным взрывом чувства, один за другим проскользнули мы в свои комнаты. И только в темном зале медленно гасящего огня, тихо переговаривающегося, шушукającego, шепчущего дома одиноко корчилось в рыданиях это сраженное человеческое тело.

Теперь будет понятно, что этого потрясающего и случившегося на наших глазах события было достаточно, чтобы привести в возбуждение привыкших к скучной и беззаботной жизни людей. Но для бурного спора, который разразился за нашим столом и едва не привел к столкновениям, этот удивительный случай послужил лишь исходным пунктом; тут было и принципиальное расхождение, гневное противопоставление враждебных понятий жизни. Благодаря нескромности горничной, которая прочла письмо, скомканное потрясенным мужем и брошенное им в бессильной злобе на пол, все сразу узнали, что мадам Анриет ушла не одна, а с молодым французом (теперь у большинства из нас стало быстро исчезать то расположение, которым он пользовался).

Правда, на первый взгляд было вполне понятно, что еще красивая, изящная женщина бросила своего грузного провинциала-мужа ради молодого, элегантного красавца. Но что свыше всякой меры раздражало весь дом, так это утверждение, будто бы ни фабрикант, ни его дочери, ни сама мадам Анриет никогда раньше этого ловеласа не видали, так что, следовательно, достаточно было двухчасового разговора на террасе и часа за черным кофе в саду, чтобы заставить тридцатитрехлетнюю безупречную женщину бросить к вечеру своего мужа и детей и, очертя голову, уйти за чужим молодым щеголем. Почти никто из членов нашего застольного кружка не хотел допустить, чтобы это было так, видя в этом лишь хитрое вероломство и ловкий маневр любовников. Считалось само собой понятным, что мадам Анриет уже давно была в близких отношениях с молодым человеком и теперь он приехал сюда, чтобы окончательно подготовить бегство, потому что — так рассуждал наш кружок — было немислимо, чтобы достойная дама, всю свою жизнь пользовавшаяся безупреч-

ной репутацией, после двухчасового знакомства убежала по первому свистку, как собака на улице, когда чужой поманит ее за собой. Я, забавы ради и именно в виду единодушия обеих супружеских пар, выставил противоположную точку зрения, энергично отстаивая возможность и даже вероятность такого внезапного решения у женщины, которая, разочаровавшись в долголетнем, скучном замужестве, внутренне готова к тому, чтобы уступить первому же серьезному натиску. Этот неожиданный аргумент сразу же сделал спор общим и тем более страстным, что обе супружеские пары — как немецкая, так и итальянская — с прямо-таки оскорбительной презрительностью отрицали существование «*coup de foudre*»,¹ как глупость и безвкусную романическую выдумку.

Едва ли нужно передавать завязавшийся спор во всех его подробностях: за табль-д'отом остроумны только профессионалы этого дела, и доводы, за которые хватаются в пылу случайного застольного спора, большей частью банальны и взяты наспех. Мне трудно будет вспомнить, почему этот спор так скоро перешел в ссору и взаимные оскорбления; я думаю, началось с того, что оба мужа невольно пожелали исключить в отношении своих жен возможность такого легкомыслия и непостоянства. К сожалению, они не нашли для этого ничего лучшего, как возразить мне, что рассуждать, как я, может только тот, кто судит о женщине по своим сомнительным и случайным победам холостяка; это одно уже взбесило меня, а когда еще и немка стала поучать меня, что существуют «настоящие женщины» и женщины «с блудливой натурой», к которым, по ее мнению, принадлежит и мадам Анриет, то у меня окончательно лопнуло терпение, и я, в свою

¹ «Удар молнии» — безудержный порыв страсти. — *Прим. перев.*

очередь, стал дерзким. За этим отрицанием очевидной истины, что в жизни женщины бывают часы, когда она предоставлена таинственным силам по ту сторону воли и сознания, кроется, говорил я, только страх перед собственным инстинктом, перед демонизмом нашей природы, и многим людям доставляет удовольствие считать себя более стойкими, нравственными и чистыми, чем те, кто «легко поддается искушению». Я лично считал более честным, если женщина свободно и страстно отдается своему инстинкту, вместо того, чтобы с закрытыми глазами обманывать своего мужа в его же объятиях, как это сплошь да рядом бывает. Я сказал это случайно, и, чем больше остальные нападали на мадам Анриет в этом обострившемся разговоре, тем горячее я защищал ее. По правде говоря, мое внутреннее убеждение так далеко не шло. Мое воодушевление было, так сказать, боевой трубой для обеих супружеских пар, а они, нестройным квартетом, так ожесточенно нападали на меня, что старый датчанин, сидевший с веселым лицом и словно с секундомером в руке, как судья на футбольном матче, принужден был постукивать по столу согнутым пальцем: «Джентльмены, прошу вас!» Однако, это помогало лишь на мгновение, да и то не каждый раз. Наши нервы были до того напряжены, мы были до того раздражены друг другом, что нас не так легко было успокоить. Не менее трех раз уже вскакивал один господин из-за стола, весь красный, и с большим трудом поддавался успокоениям своей жены; словом, еще немного — и наши прения окончились бы открытой ссорой и оскорблениями действием, если бы не вмешательство миссис К., которое, словно маслом, пригладило пенящиеся волны спора.

Миссис К., седая, представительная англичанка, была всеми безмолвно признана почетной председательницей

нашего стола. Всегда сидя очень прямо на своем месте, всегда с одинаковой приветливостью обращаясь к каждому, молчаливая и все же вежливо заинтересованная тем, что говорилось вокруг, она уже чисто внешне представляла приятное зрелище: удивительным самообладанием и спокойствием веяло от ее аристократической, сдержанной натуры. Она держалась в некотором отдалении от всех, но умела с замечательным тактом высказать каждому дружеское расположение. Большею частью она сидела в саду с книгой, иногда играла на рояле, и лишь изредка ее видели в обществе или участницей оживленного разговора. Ее почти не замечали, и все же ее присутствие оказывало на нас изумительное действие. И вот теперь, когда она, задав вопрос, впервые приняла участие в разговоре, всех нас охватило тягостное чувство стыда за то, что мы так шумно, несдержанно и по-плебейски вели себя. И едва она заговорила, — как наш разговор принял спокойную, уравновешенную форму.

Миссис К. воспользовалась гневной паузой, когда наш немец резко вскочил из-за стола и затем, усмиренный, снова тихо сел на свое место. Она невозмутимо подняла свои ясные серые глаза, нерешительно посмотрела на меня и затем, с почти осязаемой отчетливостью, осветила по-своему тему спора.

— Значит, вы полагаете, если я вас правильно поняла, что мадам Анриет, как и всякая другая женщина, может как бы бессознательно и — так сказать — не неся на себе вины, быть втянута в случайное похождение; что бывают поступки, которые такая женщина за час до того сама считала невозможными и за которые она даже едва ли может быть ответственной?

— Да, я в этом уверен, сударыня, — ответил я, совершенно успокоенный этим деловым тоном.

— Тогда каждый приговор морали совершенно бессмыслен, каждый безнравственный поступок оправдываем. Если вы действительно полагаете, что «преступление по страсти», как это называют французы, вовсе не преступление, то государственное правосудие вообще излишне. В таком случае не потребуется особых стараний, — а у вас этого старания удивительно много, — прибавила она с легкой улыбкой, — чтобы в каждом преступлении найти страсть и оправдать его этой самой страстью.

Ясный и вместе с тем веселый тон ее слов подействовал на меня замечательно успокаивающе, и, невольно подражая ее деловой манере, я ответил, полушутя, полусерьезно:

— Государственное правосудие смотрит на это, несомненно, строже, чем я: ведь на нем лежит обязанность охранять нравственность и общественные приличия, и это заставляет его осуждать, вместо того, чтобы оправдывать. Я же, как частное лицо, не вижу для себя необходимости добровольно брать на себя роль прокурора; я предпочел бы профессию защитника. Мне лично приятнее понимать людей, чем осуждать их.

Миссис К. посмотрела на меня своими ясными серыми глазами и молчала. Я уже подумал, что она недостаточно хорошо меня поняла, и готовился по-английски повторить ей сказанное, — но тут она с чрезвычайной серьезностью, словно на экзамене, начала снова предлагать мне вопросы.

— Ну, а как же, все-таки, ваше личное мнение? Разве вы не находите постыдным, даже ужасным, если женщина покидает мужа и двух детей, чтобы пойти за каким-то человеком, о котором она даже не может знать, достоин ли он ее любви? Неужели вы в самом деле можете оправдать такую беспечность и легкомыслие женщины, которая все-таки не так уж молода и должна была бы быть более осмотрительной, хотя бы из-за своих детей?

— Я повторяю вам, сударыня, — отвечал я, — что в этом случае я отказываюсь обвинять или осуждать. Вам я могу спокойно признаться, что раньше я немного хватил через край: эта бедная мадам Анриет, конечно, совсем не героиня, вовсе не натура, склонная к приключениям, и уж меньше всего «носителница великой страсти». Насколько я ее знаю, она мне кажется обыкновенной, слабой женщиной, которую я отчасти уважаю, ибо она имела мужество отдаться своим желаниям, но еще больше жалею, потому что завтра, если не сегодня, она, наверное, будет очень несчастлива. Может быть, то, что она сделала, было глупо, слишком поспешно, но ни в коем случае нельзя сказать, что она поступила пошло или низко, в этом отношении я держусь своего мнения, что никто не имеет права презирать эту бедную, несчастную женщину.

— Значит, вы ее так же уважаете и так же почтительно к ней относитесь, как и раньше? И не проводите никакой разницы между той почтенной женщиной, в обществе которой вы были третьего дня, и той, которая вчера бежала с незнакомым ей человеком?

— Никакой. Ни малейшей разницы.

— Is that so? ¹ — невольно спросила она по-английски: разговор, как видно, чрезвычайно занимал ее. И, поразмыслив мгновение, она снова взглянула на меня вопрошающим, ясным взглядом.

— А если вы завтра встретите мадам Анриет — скажем, в Ницце — идущей под руку с этим молодым человеком, вы ей поклонитесь?

— Разумеется.

— И заговорите с ней?

— Разумеется.

¹ Так ли это? — Прим. перев.

— Ну, а если бы вы... если бы вы были женаты, вы бы представили такую женщину вашей жене, как будто бы ничего не случилось?

— Разумеется.

— Would you really? ¹ — снова сказала она по-английски с недоверчивым удивлением.

— Surely I would, ² — невольно ответил я тоже по-английски.

Миссис К. замолчала. Она, казалось, напряженно думала; вдруг, глядя на меня так, словно была удивлена собственным мужеством, она сказала:

— I don't know, if I would. Perhaps I might do it also. ³

И с той невыразимой уверенностью, с которой только англичане умеют внезапно закончить разговор, она встала и дружески протянула мне руку. Благодаря ее присутствию, спокойствие снова воцарилось за столом, и мы все чувствовали себя обязанными ей тем, что недавние враги раскланились друг с другом со сносной учтивостью и нескольких легких шуток оказалось достаточно, чтобы разрядить опасно сгустившуюся атмосферу.

* * *

Несмотря на то, что спор как будто бы закончился в конце концов по-рыцарски, все же после тогдашнего раздражения осталось какое-то легкое отчуждение между моими противниками и мной. Немецкая чета держалась замкнуто, итальянской же доставляло удовольствие язвительно осведомляться у меня в последующие дни, не слышал ли я чего-нибудь нового о «сага signora Henrietta». При сохранении всей внешней учтивости, непри-

¹ В самом деле?

² Конечно, да.

³ Я не знаю, поступила ли бы я так. Быть может, и я тоже.

Прим. перев.

нужденность и сердечность нашего застольного общения окончательно исчезли.

Холодную насмешливость моих недавних противников особенно оттеняла для меня совершенно исключительная любезность, с которой, после этого спора, стала ко мне относиться миссис К. Всегда чрезвычайно сдержанная, едва достаивавшая разговором во внеобеденное время своих соседей по столу, она теперь не раз находила случай заговаривать со мной в саду и, я бы даже сказал, оказывать мне особое отличие, разрешая мне сопровождать ее, потому что, при ее чопорной сдержанности, уже и беседа с ней казалась как бы милостью. Говоря откровенно, она прямо-таки искала меня и пользовалась всяким поводом, чтобы начать со мной разговор; это было так ясно, что я пришел бы к смелым и странным догадкам, если бы она не была старой, седой дамой. О чем бы мы ни говорили, наша беседа неизбежно возвращалась к ее исходному пункту — мадам Анриет. Ей доставляло какое-то непонятное удовольствие обвинять нарушительницу долга в душевной нестойкости и нравственной ненадежности. Но в то же время она, казалось, радовалась тому, что мои симпатии непоколебимо остаются на стороне этой красивой, изящной женщины и что меня никак нельзя убедить, хотя бы на мгновение, отказаться от этого сочувствия. Она постоянно направляла в эту сторону наш разговор, и я уже не знал, что мне и думать об этом паразитическом, почти навязчивом упорстве. Но вместе с настойчивостью у этой старой представительной дамы было такое благородство речи, такая образцовая сдержанность в чувствах, что каждый раз она снова очаровывала меня, и я выносил из бесед с нею редкое удовольствие.

Так прошло пять-шесть дней, причем она ни словом не обмолвилась, почему эта тема наших бесед имеет для

нее значение. В том же, что это так, я убедился, сообщив ей как-то во время прогулки, что мое пребывание здесь подходит к концу и что через день я думаю уехать. Ее всегда спокойное лицо стало вдруг каким-то странно напряженным, и словно тень тучи пробежала по ее серым ясным глазам: — Как жаль! Мне бы хотелось еще о многом поговорить с вами. — Она впала в какую-то беспокойную рассеянность, и я чувствовал, что, говоря со мной, она думает о чем-то другом, поглощающем ее мысли. В конце концов она сама это заметила, потому что, когда наш разговор, по ее вине, оборвался, она неожиданно протянула мне руку и порывисто сказала:

— Я вижу, что сейчас не могу ясно выразить вам то, что хотела. Я лучше напишу вам. — И, торопливее чем обычно, она направилась к дому.

Действительно, вечером, перед самым обедом, я нашел у себя в комнате письмо, написанное ее энергичным открытым почерком. К сожалению, я довольно легкомысленно обошелся с бумагами моей юности и давно уже где-то затерял это письмо, так что теперь не в состоянии привести его дословно и могу лишь приблизительно передать его смысл и содержание. Она писала, что вполне сознает необычность своего поступка, но ей хотелось бы знать, может ли она рассказать мне кое-что из своей жизни. Это такой давний эпизод, что, собственно, он едва ли имеет отношение к ее теперешней жизни, а так как я послезавтра уезжаю, то ей будет легче говорить о том, что вот уже двадцать с лишним лет ее мучит и волнует. И так как в другом случае, где проступок был гораздо более очевидным, я выказал удивительную на ее взгляд свободу и снисходительность чувства, ей бы хотелось в беседе со мной разрешить свое собственное сомнение. Если я не считаю такой разговор навязчивым, она просила бы меня уделить ей час времени.

Письмо, из которого я привожу здесь по памяти лишь самое существенное, несказанно поразило меня: английский язык сам по себе уже придавал ему чрезвычайную ясность и решительность, но в самом слоге была такая уверенность и душевная сила, что я счел это неожиданное предложение поистине за особую честь. Ответ все же дался мне не так легко, и я разорвал три черновика, прежде чем написал:

«Для меня большая честь в том, что вы дарите меня таким доверием, и я обещаю вам быть честным в своем суждении, если вы его от меня требуете. Только я просил бы вас говорить со мной вполне открыто; все недосказанное создает неясность, сбивает. Конечно, я не смею просить вас говорить мне больше того, что вы сами внутренне желаете. Но то, что вы расскажете, расскажите совершенно правдиво и себе и мне. Я могу чувствовать ясно только там, где нет недоверия. Прошу вас, верьте мне, что ваше доверие я принимаю, как особую честь».

Вечером записка была в ее комнате, а на следующее утро я нашел у себя ответ:

«Вы совершенно правы: полуправда ничего не стоит, ценна лишь вся правда. Я соберу все силы, чтобы ни о чем не умолчать, ни перед собой, ни перед вами. Итак, приходите после обеда в мою комнату, — в мои 67 лет я не боюсь, что это ложно истолкуют. Я не могу говорить об этом в саду или вблизи людей. Вы должны мне поверить, что мне совсем нелегко вообще на это решиться».

В обед мы снова увиделись за столом и чинно беседовали о безразличных вещах. Но, когда я случайно встретился с ней в саду, она в легком замешательстве посторонилась меня, и было трогательно видеть, как беглый румянец залил щеки этой старой, седой дамы и она робко и смущенно свернула в аллею пиний.

Вечером, в назначенный час, я постучался. Мне тотчас же открыли. В комнате был мягкий полусвет. На столе горела маленькая лампа для чтения, бросая в сумеречное пространство желтый конус света. Миссис К. непринужденно встала мне навстречу, указала мне на кресло и сама села напротив. Я чувствовал бессознательно, что каждое из этих движений приготовлено заранее и что она сейчас начнет рассказывать. Однако, последовала пауза (явно против ее желания), пауза тяжкого колебания, которая длилась и длилась, но я не осмеливался нарушить ее хотя бы единым словом, чувствуя, что в эту минуту сильная воля отчаянно борется с таким же сильным сопротивлением. Снизу, из салона, доносились урывками мягкие звуки вальса, и я прислушивался к ним, чтобы хоть немного облегчить тягостный гнет молчания. Для нее, видимо, также было мучительным это неестественно напряженное молчание, потому что вдруг она как-то сжалась, словно готовясь прыгнуть с высоты, внимательно посмотрела на меня и начала:

— Тяжело только первое слово. Вот уже два дня как я приготовилась быть искренней и правдивой. Вероятно, это мне удастся. Может быть, вы этого еще не понимаете и считаете навязчивостью, причудой то, что я вам все это рассказываю, но не проходит дня и даже часа, чтобы я не думала об этом случае, и вы можете поверить мне, как старой женщине, что невыносимо всю жизнь оставаться у одной точки, у одного дня своей жизни. Ибо все, о чем я вам хочу рассказать, замыкается в пределах одних только суток на протяжении 67-летней жизни, и я тысячу раз говорила себе, что это ничто на протяжении стольких тысяч дней, даже если один миг человек

поступил безрассудно и безумно. Но нет возможности отделаться от того, что так неопределенно называется совестью, и, когда я услышала, как вы спокойно и свободно говорите о случае с Анриет, я подумала, что, быть может, настанет конец этим безумным думам о прошлом, этим нескончаемым самообвинениям, если я решусь поведать кому-нибудь об этом дне моей жизни.

Я знаю, что все это очень странно, но вы не колеблясь приняли мое предложение, и за это я заранее благодарю вас.

Я уже вам сказала, что хочу рассказать лишь об одном единственном дне моей жизни. Все остальное кажется теперь мне самой совсем малозначительным, а всякому другому показалось бы просто скучным. Все, что случилось со мной до моих 42 лет, можно рассказать в двух словах. Мои родители были богатые помещики, у нас были фабрики и имения в Шотландии, и мы жили, как живут старые дворянские фамилии, большую часть года в наших имениях, а зимний сезон в Лондоне. В 18 лет я познакомилась в одном обществе с моим мужем, который был вторым сыном в известной семье Р. и десять лет прослужил в Индийской армии. Скоро мы повенчались и повели беззаботную жизнь нашего круга—три месяца в Лондоне, три месяца в имениях, остальное время в путешествиях по Италии, Испании и Франции. Ничто не омрачало нашей семейной жизни. Два наших сына теперь уже давно выросли и поженились, один—морской офицер, другой—дипломат, и я провожу лето попеременно то у одного, то у другого. Когда мне было 40 лет, внезапно умер мой муж. Жизнь в тропиках наделила его болезнью печени, которая мало-по-малу приняла тяжелые формы, и я потеряла его после двух ужасных недель. Мой старший сын был тогда уже во флоте, младший в колледже, и вот

в одну ночь я стала совсем одинокой на свете. Это одиночество для меня, привыкшей к сердечному общению, было невыносимой мукой. Мне казалось невозможным оставаться хотя бы еще день в опустевшем доме, где каждая вещь напоминала мне о смерти любимого мужа, и поэтому я решила ближайшие годы, пока не вырастут и не пожелтеют мои сыновья, провести в путешествиях.

В сущности, с этого мгновения я считала свою жизнь совершенно бессмысленной и ненужной. Мой муж, с которым я 22 года делила все дни и мысли, умер, детям я была ненужна и, вероятно, даже мешала их юности моей печалью, моей тоской; для себя самой я уже ничего не требовала, ничего не хотела. Я переселилась в Париж, ходила там от скуки по магазинам и музеям, но ни город, ни его достопримечательности ничего мне не говорили, людей я избегала, потому что не могла видеть, как они с учтивым соболезнованием смотрят на мое траурное платье. О том, как прошли эти месяцы тоски после смерти мужа, я ничего больше не могла бы рассказать. Я знаю только, что мне постоянно хотелось умереть и что у меня не было силы сделать это самой. В моей памяти от того времени осталось только одно это ощущение, — все остальное ускользает и кажется мрачным, мучительным и бессмысленно проведенным временем.

На второй год траура, т.е. когда мне пошел сорок второй год, я, убегая от этого ставшего слишком тягостным времени, очутилась в конце марта в Монте-Карло. Я не стыжусь сказать, что это случилось от скуки, от мучительно давящего, как позыв к тошноте, чувства внутренней пустоты, которую по крайности можно утолить внешними, раздражающими средствами. Чем меньше чувствовала я себя удовлетворенной, тем сильнее меня тянуло туда, где жизнь бьет ключом, где колесо жизни вер-

тится с головокружительной быстротой, где можно не так остро ощущать холод и смертельную неподвижность. Для тех, у кого нет своих переживаний, мучительные волнения других представляют последнюю возможность новых переживаний, как театр и музыка.

Поэтому я часто бывала в Казино. Мне нравилось смотреть, как по лицам других людей взволнованно скользит счастье и отчаяние, меж тем как во мне был все тот же ужасный покой. К тому же мой муж, хоть и не был легкомысленным человеком, не прочь был иногда зайти в игорный зал, а я с какой-то невольной регулярностью жила теперь его привычками. И вот здесь-то и начались эти сутки, волнующие сильнее, чем всякая игра, и на годы исковеркавшие и изменившие мою судьбу.

Днем я обедала с герцогиней фон М., которая была в родстве с моей семьей, а после ужина я почувствовала, что еще не настолько устала, чтобы идти спать. Поэтому я отправилась в игорный зал, бродила, сама не играя, между столами и рассматривала публику по-своему. Я говорю «по-своему», а именно: так, как научил меня мой покойный муж, когда, устав смотреть, я как-то пожаловалась, что мне скучно глядеть все на те же лица, на старых, сморщенных женщин, которые часами сидят в своих креслах прежде чем осмелятся поставить фишку, на всю эту сомнительную, пеструю толпу, которая здесь кажется куда менее живописной и романтической, чем в скверных романах, где ее расписывают, как «цвет эlegantного общества» и аристократию Европы. Вот тогда-то мой муж, увлекавшийся хиромантией, показал мне совсем особую манеру разглядывания, которая была гораздо интереснее и острее, чем скучное стояние, и заключалась в том, чтобы глядеть только на квадрат стола и на руки людей, но не на самих игроков. Я не знаю, глядели ли вы когда-

нибудь на один из этих зеленых столов, где по середине, как пьяный, шатается шарик от одной цифры к другой, и на расчерченные поля, куда, словно семена, кружась, падают ассигнации, серебряные и золотые монеты, пока лопаточка крупье, словно коса, единым махом не скосит их, не сгребет их, как сноп, в одно маленькое местечко. Для нас, выросших в деревне, эта зеленая поверхность с расчерченными полями напоминает природу, и в этом душном от испарений и пота зале эти зеленые квадраты не раз казались мне отъезжим полем, полным препятствий и опасности. Но самое замечательное в этом зрелище — это руки, множество светлых, движущихся, ждущих рук вокруг зеленого стола; руки, выползающие из берлогу рукавов, каждая, как хищный зверь, готовый к прыжку, каждая другого цвета и формы, одни голые, другие окоченные кольцами и звенящими браслетами, одни покрытые волосами, как дикие звери, другие вялые, как тело в ванне, но все напряженные, трепещущие от страшного нетерпения. Я всякий раз невольно думала о беговой площадке, где у старта с трудом сдерживают возбужденных лошадей, чтобы они не вырвались, раньше чем надо. Все можно узнать по этим рукам, по тому, как они ждут, хватают и отдают. Жадный — скрючив пальцы, мот—свободным жестом, расчетливый — спокойно, отчаявшийся — с дрожью в суставах. Сотни характеров моментально выдают себя тем, как люди берут деньги: то согнутыми руками, то нервно сведенными, то утомленными, когда усталые ладони во время игры безучастно лежат на столе. Часто говорят, что человек выдает себя в игре. Я скажу, что еще больше выдает его в игре его собственная рука, потому что все или почти все игроки легко выучиваются владеть своим лицом. Они сгоняют морщины у рта, сжимают зубы, чтобы скрыть волнение, не позволяют глазам

выдавать тревогу, укрощают дрожащие мускулы лица и придают ему фальшивое выражение якобы благородного равнодушия. Но именно потому, что их внимание всегда сосредоточено на том, чтобы подчинить себе лицо, они забывают о руках, забывают о том, что есть люди, которые наблюдают эти руки и по ним отгадывают все — жадность, упрямство, нервность, равнодушие, усталость. Ибо неминуемо приходит минута, которая выводит эти напряженные или, казалось бы, сонные пальцы из их деланного спокойствия. В тот короткий миг, когда шарик рулетки падает в ячейку и называют число, в эту секунду эта сотня или даже сотни рук невольно производят каждая свое совсем особое, совсем индивидуальное, глубоко инстинктивное движение. И на меня, которая, благодаря этому пристрастию моего мужа, научилась совсем по-особому наблюдать эту арену рук, это скопление самых разнородных темпераментов действует более возбуждающе, чем музыка или театр. Вы себе представить не можете, каких только не бывает рук: дикие звери с волосатыми скрюченными пальцами, которые по-паучьи сгребают деньги, и нервные, дрожащие пальцы с бледными ногтями, которые едва осмеливаются эти деньги взять, благородные и низкие, грубые и застенчивые, хитрые и как бы запинаящиеся, но каждая в своем роде, каждая пара рук рассказывает о своей особой жизни, за исключением четырех-пяти пар рук крупье. Эти — только машины, они работают как щелкающие стальные рычаги счетчика, потому что они одни действуют деловым образом. Но именно эти безучастные руки производят поразительное впечатление, как противоположность их алчным и страстным собратьям. Они словно носят другую одежду, как полицейские, которые стоят среди бурной, возбужденной толпы. Особое удовольствие состоит еще в том, что уже через

несколько дней близко узнаешь привычки и тревоги отдельных рук; у меня через самое короткое время всегда заводились среди них знакомые, и я делила их, как людей, которых я встречаю, на симпатичных и враждебных мне. Многие были так противны мне своей грубостью и жадностью, что я всегда должна была отводить взгляд, чтобы не повстречаться с ними. Каждая новая рука на столе была для меня источником новых переживаний и возбуждала мое любопытство. Часто я забывала даже посмотреть на лицо — эту холодную, светскую маску, втиснутую где-то высоко над предательскими пальцами в воротник и неподвижно укрепленную над крахмальной сорочкой смокинга или над сверкающей грудью.

Когда я вошла в тот вечер в зал и, равнодушно поглядев сначала на первый и второй столы, приготовила затем несколько золотых монет у третьего стола и взглянула на игорное поле, я вдруг услышала рядом, среди этого напряженного, ненарушаемого ни единым звуком молчания, которое всегда воцаряется у столов, когда шарик, смертельно устав, качается уже у последней цифры, я услышала какой-то странный шум, хрустение и треск, словно звук ломающихся суставов. Невольно я взглянула туда. И я увидела — мне поистине стало страшно — две руки, подобных которым я еще никогда не встречала: правая и левая, как разъярившиеся звери, судорожно сцепились друг с другом и так неистово тискали и сжимали одна другую, что суставы пальцев издавали сухой треск, словно когда разламывают орех. Это были совсем исключительно изысканно красивые руки, необыкновенно длинные, необыкновенно узкие, но с туго напряженными мускулами, очень белые, с бледными у острия, нежно округленными перламутровыми ногтями. Я смотрела на них целый вечер, поражаясь этими необыкновенными, един-

ственными руками; но что меня так страшно поразило в ту минуту, так это их страстность, их взволнованное выражение, та судорожность, с которой они сжимали друг друга. Я тотчас же почувствовала, что здесь доведенный до отчаяния человек передает кончиками пальцев свое страдание, чтобы оно не сразило его самого. И вот... в ту секунду, когда шарик с сухим, коротким стуком упал в углубление и крупье выкрикнул номер... в эту секунду обе руки вдруг упали порознь, словно два зверя, которых сразила одна и та же пуля. Они упали, поистине, мертвые, а не только усталые, упали в таком пластическом образе бессилия, разочарования, сраженности, что я не могу передать этого словами. Ибо никогда в жизни — ни до того, ни после — я не видела больше таких говорящих рук, где каждый мускул был усталым, а каждый жест — выразителем чувства. Один миг плоско и безжизненно лежали они на зеленой гладкой поверхности стола, обессиленные, еле дышащие борды. Потом с трудом начала подниматься на кончиках пальцев правая рука, дрогнула, отодвинулась, нервно схватила фишку, покатала ее, как колесико, между большим и указательным пальцами, наконец, вобрала внутрь и зажала. Потом вдруг изогнулась по-кошачьи и бросила, прямо-таки выплюнула стофранковую фишку на середину черного поля. Тотчас же напряглась и взволновалась и оставшаяся позади левая рука. Она приподнялась, поползла, подкралась к дрожащей, словно усталой от броска сестре, и теперь обе они лежали, вздрагивая, и чуть-чуть стучали суставами по столу, с легким треском, как при ознобе стучат зубы. Нет, никогда я не видела таких невероятно выразительных рук, такой судорожной формы волнения и напряжения. Все остальное в этом сводчатом зале, — глухой говор посетителей, рыночные выкрики крупье, слоняющиеся люди и, наконец, сам шарик, который, бро-

шенный с высоты, опять, как одержимый, запрыгал в своей круглой лакированной клетке,—все это шумное, яркое, резкое множество мелькающих впечатлений показалось мне вдруг мертвенным и тусклым рядом с этими дрожащими, дышащими, трепещущими, жаждущими, зябнущими, содрогаящимися, рядом с этими невиданными руками, от которых я, как очарованная, не могла отвести взгляда.

Но, наконец, я не могла больше удержаться, я должна была взглянуть на лицо, взглянуть на человека, которому принадлежали эти волшебные руки, и боязливо — да, боязливо, ибо я страшилась этих рук — мой взгляд начал медленно подниматься по рукаву, по узким плечам к тому, чужому лицу. И снова я ужаснулась, ибо это лицо говорило так же сказочно напряженно, как и руки, у него было такое же страшное, страдальческое выражение и такая же нежная, почти женская красота. Никогда я не видала такого лица, такого хлынувшего наружу, такого ушедшего, оторвавшегося от самого себя лица, и мне была предоставлена полная возможность спокойно разглядывать его, как маску, как картину, ибо его глаза не глядели, не замечали окружающего, ни шума, ни людей, ни предметов. Завороженные, пылая таким безумным возбуждением, что никаких слов не хватило бы это описать, они однепелено следили только за черным шариком, который, резко стуча и чуть ли не вызываяще, как играющее животное, быстро прыгал в своей круглой клетке. Никогда, я должна это повторить, не видала я такого напряженного, такого поразительного лица. Оно принадлежало молодому человеку лет двадцати четырех. Это было узкое, нежное, продолговатое и потому такое выразительное лицо. Так же, как и его руки, оно казалось совсем не мужским. Это было скорее лицо страстно играющего мальчика. Но все это я заметила только потом, потому что сейчас на

этом лице отражались только жадность и бешенство. Томящийся жаждой, приоткрытый маленький рот наполовину обнажал зубы; на расстоянии десяти шагов можно было видеть, как лихорадочно они стучат, а губы оставались неподвижно раскрытыми, как бы для готового вырваться крика. Ко лбу пристали мокрые светлые, нежные волосы, спутавшись, словно у падающего человека, а у ноздрей трепетала непрерывная судорога, как будто под кожей пробежали невидимые волночки. Эта склоненная голова все время бессознательно устремлялась вперед, и вам невольно казалось, что вот, вот она сорвется с места и начнет кружиться вместе с шариком; и тут я поняла это судорожное сжатие рук: только это сопротивление, только эта судорога и удерживали в равновесии порывающееся вперед тело.

Я никогда не видала — повторяю это еще раз — такого лица, в котором так открыто и неприкрашено сквозила страсть, и я так же пристально, так же зачарованно глядела на это лицо, была с такой же силой прикована к его безумному облику, как оно само глядело на прыжки кружащегося шарика. С этого мгновения я уже ничего не замечала в зале, все казалось мне тусклым, неясным, расплывчатым, темным в сравнении с этим пылающим лицом, и, забыв обо всех остальных, я, может быть, с час глядела на одного этого человека, наблюдала каждый его жест. Я видала, как в его глазах вспыхнуло яркое пламя, как, словно от взрыва, разорвался судорожный узел рук, раскидывая дрожащие пальцы, когда крупье пододвинул к ним звенящей лопаткой двадцать золотых монет. В это мгновение лицо стало вдруг ясным и совсем молодым, морщины мягко разгладились, радостно засветились глаза, и согнутое тело светло и легко выпрямилось; он сидел статно, как всадник, охваченный победным ликованием, а пальцы

шаловливо и влюбленно сгребали круглые монеты, стучали ими одна о другую, играя и позванивая. Потом он снова беспокойно повернул голову, окинул глазами зеленое поле, как молодая охотничья собака, которая, обнюхивая, ищет верный след, и вдруг порывистым движением бросил всю золотую стопку на один из углов. И тогда снова началось это выжидание, это напряжение. Снова побежали от губ к носу эти дрожащие волночки, снова судорожно сжались руки, и мальчишеское лицо исчезло в алчном пылании ждущих глаз, пока вдруг опять это порывистое напряжение не распалось в разочаровании: юношески возбужденные черты поблекли, стали вялыми и старыми, глаза безжизненными и тусклыми, и все это произошло в течение одной секунды, когда шарик упал не на то число. Он проиграл. Секунды две смотрел он почти тупоумным взором, словно не понимая; затем, под подбадривающими, подстегивающими возгласами крупье, его пальцы снова тяжело приподнялись, протаскивали вперед, как тяжелое бремя, несколько золотых монет. Но уверенность была уже потеряна. Сначала он подвинул золото на одно поле, потом, передумав, на другое, и, когда шарик был уже в движении, он бросил дрожащей рукой, следуя внезапному наитию, в узкий четырехугольник еще две скомканых ассигнации.

Эта порывистая смена проигрышей и удач длилась около часа, и в течение всего этого часа я ни на миг не отводила завороченного взгляда от этого беспрестанно меняющегося лица, по которому, приливая и отливая, струились все страсти; я не спускала глаз с этих волшебных рук, которые каждым мускулом пластически отражали взлет и падение чувств. Никогда в театре я не всматривалась с таким напряжением в лицо актера, как в это лицо, где, словно бегущие по земле свет и

тебя, безостановочно сменялись все краски и ощущения. Никогда в игре мое напряжение не достигало такой силы, как созерцание этого чужого волнения. Если бы кто-нибудь наблюдал за мной в это время, то мой пристальный, стальной взгляд показался бы ему гипнотическим; впрочем, мое полное оцепенение и было чем-то в этом роде: я не могла отвести взгляда от мимики этого лица, и все остальное в этом зале — свет, смех, люди, взгляды — едва ощущалось мною, как какой-то желтый дым, среди которого было это лицо — огонь среди огней. Я ничего не слышала, ничего не чувствовала, я не видела, как рядом со мной проталкивались люди, как, словно щупальцы, протягивались упругие руки, бросали или брали деньги, я не видела шарика и не слышала голоса крупье, — и в то же время видела все происходящее, как во сне, по этим рукам и по этому лицу, совершенно отчетливо и словно преувеличенно, будто в вогнутом зеркале, благодаря их возбуждению и безудержности, потому что, падали шарик на красное или на черное, катился или останавливался, оказывался ли выигрыш или проигрыш, — все отражалось на этом лице с невиданной страстностью и живостью и вместе с тем с изумительной отчетливостью.

И вот настал страшный миг, — миг, которого я все время глухо боялась, который нависал над моими напряженными нервами, словно гроза, и вдруг по ним ударил. Снова шарик с коротким стуком упал в свое углубление, снова минула короткая секунда, когда замирают двести грудей, пока, наконец, голос крупье не возвестил: «Нуль!» и его услужливая правая рука не начала сгребать со всех сторон звенящие монеты и хрустящие ассигнации. В это мгновение обе скрюченные руки сделали какое-то особое, страшное движение, они как бы подскочили, хватая что-то,

чего не было, и потом, словно рухнувшая обратно тяжесть, смертельно утомленные, упали на стол. Затем они снова лихорадочно ожили, сбегали со стола к телу, вскарабкались по туловищу, как дикие кошки, забегали вверх, вниз, вправо, влево, нервно шаря по всем карманам, не спрята-лась ли там где-нибудь забытая золотая монета. Но они всякий раз возвращались и снова, все возбужденнее, принимались за эти безумные, бесполезные поиски, а рулетка уже опять вертелась, игра продолжалась, звенели монеты, отодвигались стулья, и сотни разных шумов наполняли зал. Я дрожала от ужаса: я так остро ощущала происходящее, словно это мои собственные руки отчаянно ищут хотя бы один золотой в карманах и складках измятого платья. И вдруг этот человек, там, напротив, разом встал, — как встают, когда чувствуют себя плохо, и скидывают голову, чтобы не задохнуться; позади него с грохотом упало кресло. Не обращая на это внимания, не видя людей, которые боязливо и удивленно сторонились перед этой шатающейся фигурой, он тяжело отошел от стола. Его лицо мертвенно поблекло, ко лбу прилипли влажные спутанные волосы, а руки безжизненно болтались, как у марионетки, при каждом его слепом, шатающемся шаге.

Я словно окаменела в этот миг. Я тотчас же поняла, куда пошел этот человек: он пошел к смерти. Кто так встает, как он, тот не идет обратно в гостиницу, в ресторан, к женщине, к поезду, он не идет туда, где жизнь, он падает в пропасть; и даже самый зачерствелый в этом адском зале человек должен был знать, что у того, кто ушел, нигде уже не было опоры — ни дома, ни в банке, ни у родных, что он сидел тут со всеми своими деньгами, со всей своею жизнью, и теперь побрел куда-то, но только во всяком случае прочь от жизни. Я все время боялась и, как только взглянула на это лицо, магически почувство-

вала, что в этой игре есть что-то большее, чем проигрыш и выигрыш; и всей силой своего грозного напряжения я ощущала, что эта человеческая страстность уничтожит самое себя. И вдруг словно черная молния обрушилась на меня, когда я увидела, как жизнь ушла из его глаз и смерть вяло мазнула по этому еще за миг до того слишком живому лицу. Его пластические жесты настолько овладели мною, что я невольно судорожно сжала руки, когда этот человек оторвался от своего места и побрел прочь, потому что эту неверную походку я чужая своим собственным телом так же, как раньше каждым своим нервом, каждой жилой ощущала его напряжение. И вдруг что-то толкнуло меня: я должна была пойти за ним, я должна была видеть, что с ним случится. Я не сознавала, что я делаю. Не глядя ни на кого, не чувствуя самое себя, я шла, я бежала по коридору к выходу. Он стоял в гардеробной, служитель подавал ему пальто. Но руки его уже не слушались, и служитель старательно помогал ему, как больному, всунуть руки в рукава. Я видела, как он машинально полез в жилетный карман, чтобы дать ему на-чай, но пальцы снова ничего не извлекли оттуда. Тогда он как будто опять вспомнил все, что-то смущенно пробормотал служителю, рванулся, как перед тем, вперед и тяжело, словно пьяный, начал спускаться по ступеням Казино, а служитель с презрительной было, а потом понимающей усмешкой посмотрел ему вслед.

Его движения были так потрясающи, что мне стало стыдно смотреть. Я невольно отвернулась, смущенная тем, что случайно увидела, словно на сцене, чужое страдание; но потом снова этот непонятный страх толкнул меня. Я быстро оделась и, не думая ни о чем, механически сбежала со ступеней, спеша во тьму за этим чужим человеком.

Миссис К. прервала на минуту рассказ. Она сидела в неподвижной позе против меня и со своим особым спокойствием и деловитостью говорила почти без пауз, как говорит тот, кто внутренне приготовился и расположил в порядке все эпизоды. Тут она в первый раз запнулась, помедлила, потом обратилась прямо ко мне:

— Я обещала вам и себе самой, — начала она немного взволнованно, — рассказать все с полной откровенностью. Однако, я должна теперь же потребовать от вас, чтобы вы отнеслись к моей откровенности с полным доверием и не приписывали мне никаких скрытых мотивов, которых я могла бы теперь и не стыдиться, но которых в данном случае совершенно не было. Итак, я должна подчеркнуть, что, когда я поспешила за этим несчастным игроком на улицу, я вовсе не была влюблена в этого молодого человека. Я вовсе не думала о нем, как о мужчине. После смерти моего мужа я, уже сорокалетняя женщина, не обращала внимания на взгляды мужчин. Для меня это было безвозвратное прошлое. Я говорю вам это и должна это вам сказать, потому что иначе вам не будет понятен весь ужас того, что случилось потом. Впрочем, мне все-таки трудно было точно назвать то чувство, которое тогда с такой силой влекло меня к этому несчастному: здесь было любопытство и, прежде всего, ужасный страх, или лучше сказать, страх перед чем-то ужасным, что я с первой же секунды невидимо почувствовала вокруг этого молодого человека, словно облако. Но такие ощущения нельзя отделять одно от другого, нельзя расчленять уже потому, что они слишком сильно, слишком быстро, слишком самопроизвольно следуют друг за другом и лежат по ту сторону спокойного размышления; наверное, это было

всего лишь инстинктивное движение, которым на улице оттаскивают назад бросившегося под автомобиль ребенка. Разве можно объяснить, почему человек, который сам не умеет плавать, бросается с моста на помощь утопающему? Просто — тайная сила толкает его вперед, и у него нет времени подумать, как безумно, как опасно для него самого его намерение; совершенно так же, не думая, не отдавая себе отчета, я пошла за несчастным из игорного зала к двери и от двери на террасу.

Я уверена, что ни вы, ни другой человек с открытыми на все глаза не мог бы отделаться от этого жуткого любопытства, потому что нельзя было вообразить себе более ужасного зрелища, чем то, когда этот самое большое двадцатичетырехлетний молодой человек, медленно, как старик, шатаясь, как пьяный, неповинуящимся ему разбитым телом, тащился по ступеням к террасе. Там он, как мешок, упал на скамью. Я снова, содрогаясь, почувствовала: этому человеку пришел конец. Так падает только мертвый или тот, у кого для жизни уже нет силы и ни один мускул уже не действует. Голова криво откинулась на спинку; безжизненно болтаясь, свисли руки; в тусклом свете фонарей прохожий принял бы его за застрелившегося. И вот, — я не могу объяснить, как это видение возникло вдруг передо мною, но оно встало во всей своей яркости, осязаемое, страшное, чудовищное, — в эту минуту я увидела его застрелившимся, и непоколебимой была моя уверенность, что в кармане у него револьвер и что завтра это тело найдут скорчившимся на этой или на другой скамейке, безжизненное, окровавленное, ибо он упал так, как камень падает в воду и уже не может остановиться, пока не достигнет дна. Я никогда не видела, чтобы одно движение говорило о такой усталости и отчаянии.

А теперь подумайте обо мне, я стояла в двадцатитридцати шагах позади скамьи, где сидел неподвижный, сраженный человек; стояла, дрожа, не зная, что делать, побуждаемая желанием помочь и сдерживаемая воспитанной во мне, врожденной боязнью заговорить на улице с чужим человеком. Газовые фонари тускло горели под затянутым тучами небом; лишь изредка проходил мимо человек; было около полуночи, я стояла почти совсем одна в парке, на берегу, рядом с этим комком отчаяния, который с презрением и безнадежностью вышвырнул сам себя. Пять, десять раз я порывалась подойти к нему, и каждый раз меня удерживал стыд или, быть может, какой-то более глубокий инстинкт, подсказывавший мне, что падающий, в отчаянной схватке, нередко увлекает за собой спасителя, — и среди всех этих моих колебаний я отчетливо почувствовала, как глупо и смешно мое положение; но я не могла ни уйти, ни заговорить, ни сделать что-нибудь, ни покинуть его. Я надеюсь, вы мне поверите, если я скажу, что целый час, целый бесконечный час, пока тысячи всплесков невидимого прибоя разрывали время, я ходила взад и вперед по этой террасе, настолько потрясло и приковало меня зрелище этой полной гибели человека.

И все же у меня не хватало мужества что-нибудь сказать, что-нибудь сделать, и я, может быть, прождала бы так добрую половину ночи, до утра, или, может быть, побежденная холодным рассудком и эгоизмом, пошла бы домой; мне даже кажется, что я уже решилась бросить на произвол судьбы этот беспомощный, отчаявшийся комок, но тут случилось нечто более могущественное, чем мое решение: пошел дождь. Целый вечер наносило ветром с моря тяжелые, дымящиеся весенние тучи; сердцем и грудью чувствовалось, что небо спустилось совсем низко; и вот упала первая капля, а затем дробно застучали голимые

ветром тяжелые мокрые пряди сплошного ливня. Невольно я побежала под навес киоска; но, хоть я и раскрыла зонтик, прыгающая влага брызгала мне на платье, руки и лицо и обдавала холодной пылью разбивающихся о землю капель.

Но и это была такая ужасная картина, что даже теперь, после двух десятилетий, у меня сжимается горло, когда я вспоминаю: под этим дождевым обвалом несчастный безжизненно сидел на скамье и не двигался. Из всех жолобов текла и бурливо струилась вода. Из города доносился грохот мчащихся экипажей, справа и слева бегом бежали люди, и было видно в темноте, как они спешат, подняв воротники пальто. Все живое боязливо ежилось, бежало, пряталось, искало убежища. Чувствовалось, как люди и животные боятся низвергающейся стихии, — и только этот черный человеческий обломок на скамье не двигался и не шевелился. Я уже сказала вам, что у этого человека был волшебный дар — каждое свое чувство невольно выражать пластически посредством движения или жеста; но ничто, ничто на земле не могло так потрясаяще отразить это отчаяние, этот отказ от самого себя, эту смерть заживо, как эта неподвижность, это бесчувственное, мертвое сидение под хлещущим дождем, эта чрезмерная усталость, не позволявшая ему подняться и пройти несколько шагов к кровле, эта последняя степень безразличия к самому себе. Ни один ваятель, ни один поэт, ни Микель Анджело, ни Данте не изображали с таким душераздирающим чувством последнее отчаяние, последнюю земную горесть, как этот живой человек, отдавшийся стихии, слишком усталый, чтобы сделать хоть какое-нибудь движение. Я не выдержала, я не могла больше. В один миг я пробежала сквозь дождевую завесу, встряхнула этот мокрый человеческий ком. «Идемте!» Я схватила его за руку, что-то с трудом двинулось вперед.

Он хотел сделать какое-то движение, но ничего не понимал. «Идемте!» Я еще раз потянула за мокрый рукав, теперь уже с силой и почти сердито. Тогда он встал, безвольно шатаясь. «Что вам надо?», спросил он, и я не нашла ответа, потому что сама не знала, куда я с ним пойду; только бы подальше от этой сырости, от этой безумной, самоубийственной одепенелости и невыразимого отчаяния. Я не отпустила руки и потащила этого лишенного воли человека вперед, к киоску, где узкий навес хоть немного защищал от гонимых ветром потоков неистового ливня. Больше я ничего не могла сделать, ничего не хотела; только отвести под крышу, в сухое место этого человека; больше я пока ни о чем не думала.

И так стояли мы теперь рядом в узкой сухой полосе у стены закрытого киоска, под маленьким навесом, а порывистый, хлещущий время от времени дождь обдавал нам платье и лицо холодной водой. Положение было невыносимое. Я не могла стоять дольше рядом с этим промокшим чужим человеком. Но, вытащив его сюда, я не могла допустить, чтобы он безмолвно тут стоял. Что-то должно было случиться. Мало-помалу я заставила себя размышлять ясно. Лучше всего было бы отвезти его домой в экипаже, а потом и самой отправиться домой. Завтра он уже сам сумеет себе помочь. И вот я спросила его, неподвижно стоявшего рядом со мной и тупо смотревшего в бурную ночь: «Где вы живете?» — «Я нигде не живу... Я только вечером приехал из Ниццы... Ко мне нельзя пойти.»

Последние слова я поняла не сразу. Только немного погодя мне стало ясно, что этот человек принимает меня за... кокотку, за одну из тех женщин, которые вечером толпами кружат около Казино, чтобы обобрать счастливого игрока или пьяного. В конце концов, мог ли он

думать иначе? Только теперь, когда я это вам рассказываю, я чувствую всю невероятность и фантастичность моего положения, — мог ли он думать иначе? Ведь по тому, как я стащила его со скамьи и повела за собой, он действительно не мог принять меня за даму из общества. Но обо всем этом я подумала не сразу; я только позже, может быть даже слишком поздно, начала понимать то ужасное ложное положение, в котором я очутилась. Иначе я никогда бы не произнесла тех слов, которые могли только укрепить его в этом заблуждении. Я сказала: «Тогда надо взять комнату в отеле. Здесь вы не должны оставаться, вы должны куда-нибудь пойти.»

Но теперь я уже заметила ошибку, потому что он даже не повернулся ко мне и сказал с какой-то насмешкой в голосе: «Нет, мне не нужна больше комната, мне ничего больше не надо. Не трудись напрасно, из меня ты ничего не вытянешь. Ты не к тому обратилась, у меня нет денег.»

Это было так страшно сказано, с таким потрясающим безразличием! И то, как он стоял, вяло прислонясь к стене, этот промокший, вконец измотавшийся человек, так взволновало меня, что я даже не подумала обидеться. Я снова почувствовала то, что ощутила в первое мгновение, когда он побрел из Казино, и то, что я ощущала в продолжение всего этого невероятного часа: что здесь человек, молодой, живой, дышащий человек стоит вплотную к смерти и что я должна спасти его. Я подошла к нему ближе.

«Не беспокойтесь о деньгах и еде. Вы не должны здесь оставаться. Я дам вам приют. Пусть это вас не беспокоит, и идемте сейчас.»

Он повернул ко мне голову, и в то время как вокруг барабанил дождь и сточные трубы струили к нашим ногам хлюпающую воду, я почувствовала, что он в первый раз

старается в темноте разглядеть мое лицо. Его тело будто медленно начинало выходить из своей летаргии.

«Ну, как хочешь,—сказал он, наконец.—Мне все равно. В самом деле, почему бы и нет? Идем!» Я раскрыла зонтик, он подошел ко мне и взял меня под руку. Эта внезапная интимность была мне неприятна; больше того, я пришла в ужас, и страх пронизал меня до глубины сердца. Но у меня не хватало мужества запретить ему что-нибудь. Если бы я оттолкнула его, он упал бы в бездну, и тогда все, что я уже успела сделать, оказалось бы бесполезным. Мы пошли назад в сторону Казино, и тогда только у меня мелькнула мысль, что я не знаю, что же мне с ним делать. Я быстро сообразила, что лучше всего было бы отвезти его в отель, у подъезда сунуть ему в руки деньги, чтобы он там переночевал и утром уехал домой. О дальнейшем я не думала. Мимо Казино торопливо проезжали экипажи, я подозвала один. Мы сели, и, когда кучер спросил, куда везти нас, я сначала не знала, что ответить. Но тут я вспомнила, что человек в промокшей одежде, с которой стекает вода, не может найти хорошего приема в дорогом отеле, и, как совсем неопытная женщина, не подумав об этой двусмысленности, я крикнула кучеру: «В какую-нибудь гостиницу попросе!»

Мы сели. Равнодушный промокший кучер погнал лошадей. Мой сосед молчал, колеса стучали, а дождь шумно барабанил о стекла. В этом темном, гробоподобном ящике у меня было такое ощущение, словно я еду с трупом. Я старалась собраться с мыслями, найти какие-то слова, чтобы нарушить это странное, страшное молчание, но ничего не могла придумать. Через несколько минут экипаж остановился. Я вышла первая и расплатилась с кучером, пока мой спутник, словно пьяный, вылезал из экипажа. Мы стояли у дверей маленькой незнакомой

гостиницы. Под стеклянным навесом было небольшое защищенное место, а вокруг, в непроницаемой ночной тьме, с отвратительной монотонностью шумел дождь.

Незнакомец, побежденный тяжестью, невольно прислонился к стене. С его промокшей шляпы и измятого платья текла вода. Он стоял, как вытасченный из реки и еще не совсем пришедший в себя утопавший, и в том месте, к которому он прислонился, образовался стекавший вниз ручеек. Но он не сделал даже легкого движения, чтобы отряхнуться, отрясти шляпу, с которой капли, как слезы, стекали на лоб и лицо. Он только стоял безжизненно, и я не могу передать вам, как меня волновала эта убитость.

Но надо было что-нибудь делать. Я опустила руку в карман. «Вот вам сто франков,—сказала я.—Наймите себе на них комнату и утром поезжайте обратно в Ниццу.»

Он удивленно взглянул на меня.

«Я видела вас в игорном зале,—торопливо продолжала я, заметив, что он колеблется.—Я знаю, что вы все проиграли, и боюсь, что вы на пути к тому, чтобы сделать глупость. Нет стыда в том, чтобы позволить помочь себе: вот, возьмите.»

Но он оттолкнул мою руку с силой, которой я от него не ожидала. «Ты славная женщина,—сказал он.— Но оставь свои деньги себе, мне ничем уже не помочь. Буду ли я еще спать эту ночь, или не буду,—это не имеет никакого значения. Завтра все равно конец. Мне уже не помочь.»

«Нет, вы должны взять,—настаивала я.— Завтра вы будете думать иначе. А пока зайдите сюда и усните. Днем все кажется совсем другим.»

Но он почти запальчиво оттолкнул мою руку, когда я протянула ему деньги. «Оставь,—глухо повторил он.—

В этом нет смысла. Лучше я это сделаю на улице, чем пачкать здесь кровью людей комнату. Мне не помогут ни сто франков, ни даже тысячи. Завтра я снова с последними пятью франками пошел бы в Казино и играл бы до тех пор, пока ничего бы не осталось. К чему начинать снова? С меня довольно.»

Вы не можете себе представить, как терзал мою душу этот глухой голос; но подумайте: в двух дюймах от вас стоит молодой, светлый, живой, дышащий человек, и вы знаете, что, если не напряжете всех сил, эта мыслящая, говорящая, дышащая юность через каких-нибудь два часа будет трупом. И тут во мне поднялось неистовое, бешеное желание победить это безумное сопротивление. Я схватила его за руку: «Бросьте эти глупости. Вы сейчас же войдете и возьмете комнату, завтра придете ко мне и я отвезу вас на вокзал. Вам нужно прочь отсюда. Завтра же вы должны уехать домой, и я не успокоюсь, пока не увижу вас в поезде с билетом. В молодости не выбрасывают жизнь только потому, что проиграли несколько сот или тысяч франков. Это трусость, это глупый припадок злости и раздражения. Завтра вы сами скажете, что я права».

«Завтра,—мрачно и насмешливо повторил он.—Если бы ты знала, где я завтра буду! Да и если бы я сам это знал! Мне самому любопытно. Нет, ступай домой, дитя мое, не трудись и не швыряй деньгами.»

Но я не уступала. Это превратилось во мне в какую-то манию, в какое-то неистовство. Я с силой схватила его руку и всунула туда ассигнацию. «Вы возьмете деньги и сейчас же войдете сюда.» И с этими словами я решительно подошла к звонку и позвонила. «Вот, я позвонила, выйдет сейчас портье. Завтра в девять часов я буду ждать вас здесь, около этого дома, и прямо отвезу вас на вокзал. Не заботьтесь больше ни о чем, я все устрою, все сделаю,

чтобы вы были дома. А сейчас лягте, усните и не думайте больше об этом.»

В эту минуту изнутри в двери щелкнул ключ, портье отворил.

«Ну, идем», сказал он вдруг каким-то жестким, властным, мрачным голосом, и я почувствовала, как его пальцы, словно сталь, сжали мою руку. Меня охватил страх... такой пронизывающий страх... я так растерялась от неожиданности, что ничего не соображала. Я хотела сопротивляться... вырваться... но моя воля была сломлена... и потом... вы поймете... мне было стыдно бороться с чужим человеком перед портье, который стоял и нетерпеливо ждал. И вот я очутилась внутри гостиницы; я хотела заговорить, что-нибудь сказать, но горло судорожно сжалось... на моей руке тяжело и властно лежала его рука... я смутно сознавала, что она ведет меня по лестнице... звякнул ключ...

И вот я очутилась одна с этим незнакомцем в какой-то чужой комнате, в гостинице, названия которой я не знаю и теперь.

* *
*

Миссис К. снова умолкла и вдруг встала. Ее голос словно отказывался ей повиноваться. Она подошла к окну и несколько минут, молча, смотрела в него, а может быть, просто прильнула лбом к холодному стеклу; я не решался взглянуть на нее, потому что мне было тяжело видеть волнение этой старой дамы. Я сидел совсем тихо, ничего не спрашивая, и ждал, пока она спокойной походкой не вернулась к своему месту и не села снова против меня.

— Теперь уже сказано самое тяжелое. И я надеюсь, что вы мне поверите, если я скажу и поклянусь вам всем, что для меня свято, моей совестью, моими детьми, что до

той минуты мне и в голову не приходила мысль... о связи с этим незнакомым человеком, что я совсем безвольно, бессознательно, словно провалившись в западню на ровной дороге моей жизни, очутилась в этом положении. Я дала себе клятву в каждом слове быть правдивой перед вами и собой, и я снова повторяю, что только бешеное желание помочь и ничто другое, ни личное чувство, ни что-либо похожее на это, завлекло меня в это трагическое приключение.

Вы меня избавите от необходимости рассказывать о том, что случилось в этой комнате в эту ночь. Сама я не забыла и не хочу забывать ни одного мгновения этой ночи. В эту ночь я боролась с человеком за его жизнь, я чувствовала, что он со всей жадностью и страстностью молодости еще цепляется за нее. Он ухватился за меня, как тот, кто уже видит у себя под ногами бездну. Я же забыла о себе, чтобы спасти его, спасти всем, что у меня было. Такие часы человек переживает только раз в жизни, переживает один из миллионов людей, и без этого ужасного случая я никогда бы не почувствовала, как страстно, с каким отчаянием, с какой необузданной жадностью принимает потерянный, сраженный человек к каждой капле жизни, я, двадцать лет огражденная от демонических сил бытия, никогда бы не постигла, как грандиозно и фантастически иной раз сплетается природа зной и холод, жизнь и смерть, ликование и отчаяние в одном коротком мгновении. Эта ночь была так полна борьбы и слов, страсти, гнева и ненависти, слез, мольбы и опьянения, что она казалась мне тысячелетием. И мы, два человека, низвергнутые в нее, один — жаждавший смерти, неистовый, другой, — ничего не сознающий, вышли из нее преображенные, с новыми мыслями, с новыми чувствами.

Но я не хочу об этом говорить. Я не могу этого передать и не буду. Но о той ужасной минуте, когда я про-

снулась утром, — я должна вам рассказать. Я очнулась, от свинцового сна, я вышла из такой глубины мрака, какой я до тех пор не знала. Я долго не могла открыть глаза, и первое, что я увидела, был незнакомый мне потолок, потом различила всю незнакомую, отвратительную комнату и не могла понять, как я в ней очутилась. Сначала я успокаивала себя, что это только сон, какой-то более светлый, более прозрачный сон, и что я, наконец, выбираюсь из того совсем глухого, удушливого сна, но в окно уже било ясное, утреннее солнце, а снизу доносился шум улицы, я слышала стук колес, звон трамваев и голоса людей, и тогда я поняла, что я не сплю, что это наяву. Невольно я поднялась, чтобы прийти в себя, и вот, посмотрев в сторону... я увидела — никогда я не сумела бы передать вам моего ужаса — увидела человека, спящего рядом со мной на широкой кровати... совсем чужого, чужого, чужого, полуголого незнакомого человека.

Я бы никогда не сумела передать вам этого мгновения. Ужас с такой силой охватил меня, что я бессильно откинулась назад. Но это был не обморок, не потеря сознания, напротив; с быстротой молнии все для меня стало ясно и вместе с тем необъяснимо, и теперь мне хотелось только одного: умереть от отвращения и стыда за то, что я очутилась с каким-то чужим человеком в кровати какого-то подозрительного притона. Я хорошо помню: сердце у меня не билось, я задерживала дыхание, словно этим могла прекратить жизнь и загасить сознание, это ясное, до ужаса ясное сознание, которое все видело и ничего не понимало. Не знаю, как долго я лежала так, похолодевшая с ног до головы, как лежат покойники в гробу. Я закрыла глаза и взывала к богу, взывала к небесным силам, чтобы все это оказалось неправдой, наводнением. Но мои обострившиеся чувства уже не мирились с обманом, в соседней

комнате я слышала плеск воды и голоса, из коридора доносилось шарканье шагов; все это говорило мне о том, что это правда, и я чувствовала себя все более и более уничтоженной.

Как долго длилось это отвратительное состояние, я не могла бы сказать: у таких мгновений совсем другой ход, чем у жизни. И вдруг меня охватил страх, невероятный, животный страх, что этот человек, имени которого я даже не знаю, сейчас проснется, заговорит со мной. Я поняла, что мне остается только одно: одеться и бежать, пока он не проснулся. Чтобы он никогда меня больше не видел, никогда не говорил со мной. Спасти, пока не поздно, прочь, прочь, прочь отсюда. Назад к своей жизни, какой бы то ни было, в свой отель, и с первым же поездом прочь из этого проклятого места, из этой страны, никогда больше не встречать его, в глаза его не видеть, чтобы не было свидетелей, чтобы никто не знал и не мог обвинить.

Эта мысль вернула мне силы. Осторожно, без шума, крадущимися, воровскими движениями медленно сползла я с кровати и взяла свое платье. Я осторожно оделась, все время дрожа от страха, что он проснется. Наконец, я была совсем готова, это мне удалось, только шляпа моя лежала по ту сторону у ножки кровати, и вот, когда я на цыпочках подошла к ней, надела ее и была уже в безопасности, — в эту минуту я не могла, я должна была еще раз взглянуть на этого чужого человека, который, как камень на голову, упал в мою жизнь. Я хотела бросить только один беглый взгляд, но... это было поразительно... тот чужой молодой человек, который дремал там, был теперь действительно совсем чужим для меня человеком: сначала я даже не узнала вчерашнего лица. Так теперь разгладились обуреваемые страстью, напряженные, иска-

женные, судорожно натянутые черты смертельно возбужденного лица: это было совсем другое, детское лицо, лицо мальчика, прямо-таки сиявшее весельем и чистотой. Закушенные вчера губы разжались, сонно приоткрытые, округленные, готовые к улыбке; нежно вились светлые волосы вокруг гладкого лба, и ровное дыхание легкими волнами пробегало от груди по всему успокоившемуся, блаженно облегченному телу.

Вы, может быть, вспомните: я вам уже говорила, что никогда, ни у одного человека я не видала такого сильного, преступно сильного выражения жадности и страсти, как у этого незнакомца за игорным столом. А теперь я скажу: даже у детей, которые во сне иной раз излучают ангельское сияние чистоты, не видала я такой ясной безмятежности, такой поистине блаженной дремоты. На этом лице так же пластически, как и тогда, отражались все чувства, но теперь райски освобожденные от внутренней тяжести, раскованные, спасенные. При этом неожиданном зрелище, словно тяжелый черный плащ, спал с меня всякий страх, всякий ужас. Я уже ничего не стыдилась и была почти радостна. Все жуткое, все непостижимое получило для меня особый смысл, я радовалась, я гордилась мыслью, что, не принеси я себя в жертву этому молодому, нежному, красивому человеку, который ясно и тихо, как цветок, лежал здесь, он был бы найден где-нибудь на скале, с окровавленным, разбитым, раздробленным лицом, уже остывший, с безобразно вылезшими глазами. Я его спасла. Он был спасен. И — я не могу назвать это иначе — я смотрела материнским взором на спящего, которому я вновь, с большей мукой, чем собственным детям, дала жизнь. И в этой потрепанной, грязной комнате, в этой мерзкой, случайной гостинице меня охватило такое чувство, — может быть, это звучит смешно, — будто я стою

в церкви, чудесное блаженство и святость. И из самого страшного мгновения целой жизни братски выросло другое, самое удивительное и покоряющее.

Шумно ли я пошевелилась? Сказала ли что-нибудь невольно? Я не знаю. Но вдруг спящий открыл глаза. Меня охватил страх. Я отшатнулась. Он удивленно посмотрел вокруг — совершенно так же, как и я. Казалось, он медленно выбирался из какой-то глубины и потерянности. Его взгляд вопрошающе скользил по чужой, незнакомой комнате, потом удивленно остановился на мне. Но прежде чем он заговорил, прежде чем он пришел в себя, я уже овладела собой. Я не должна была допустить ни одного слова, ни одного вопроса, никакой близости; о том, что случилось вчера, нельзя было ни вспоминать, ни говорить.

«Я должна идти, — быстро сказала я. — Оставайтесь здесь и оденьтесь. В двенадцать часов вы встретите меня у входа в Казино, там я позабочусь обо всем остальном.»

И, прежде чем он успел мне возразить, я выбежала вон, чтобы только не видеть этой комнаты, и бежала, не оборачиваясь, из дома, названия которого я не знала так же, как и имени того человека, с которым я там провела ночь.

* *
*

На одно мгновение миссис К. прервала свою повесть. Но в ее голосе не было уже ни муки, ни напряжения. Как с трудом взобравшаяся на гору повозка легко и быстро катится по склону с высоты, так теперь, не задерживаясь, совсем в другом темпе продолжался ее рассказ.

— Итак, я бежала к себе в отель по ярким, утренним улицам. Все темное, что заслоняло небо, было сметено бурей, как и мое мучительное чувство. Ибо не забывайте того, что я сказала вам раньше: после смерти мужа

я отказалась от личной жизни. Детям я была ненужна, сама себе тоже, потому что всякая жизнь — заблуждение, если она не ведет к определенной цели. И вот, в первый раз на мою долю выпала неожиданная задача: я спасла человека, вырвала его из небытия с напряжением всех своих сил. Оставалось преодолеть еще немного, и эта задача должна была быть выполнена до конца. Итак, я побежала к своему отелю. Удивленный взгляд портье, которому показалось чрезвычайно странным, что я возвращаюсь домой в девять часов утра, скользнул мимо меня: уже не стыд и не досада на случившееся, а внезапное пробуждение моей воли к жизни владело мной; неожиданное, новое чувство, что моя жизнь нужна, — горячо струилось по моим жилам. Я быстро переоделась у себя в комнате, бессознательно (я это заметила только позднее) сняла траурное платье, чтобы заменить его более светлым, пошла в банк записаться деньгами, потом на вокзал справиться об отходе поезда; с удивившею меня самое твердостью я заставила себя позаботиться и о некоторых других делах. Теперь уже больше ничего не оставалось делать, как добиться отъезда и спасения брошенного судьбой на мое попечение человека.

Конечно, требовалось еще последнее усилие, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. Ибо все, что произошло вчера, случилось в темноте, в каком-то вихре. Мы были словно два столкнувшихся, низвергнутых водопадом камня. Мы едва знали друг друга в лицо, я не была даже уверена, узнает ли меня этот незнакомец. Вчера была случайность, опьянение, безумие двух потерявших голову людей. Но сегодня он уже должен был окончательно составить мнение о той, которая вчера отдалась ему, ведь сегодня я должна была встретить его с открытым лицом, как живой человек. Дело надо было довести до конца,

и я собрала все свои силы, успокоив себя внутренне тем, что эта встреча при дневном свете будет нашей последней встречей, так как и на эту мою исповедь я решилась, уверившись в том, что завтра я вас больше не увижу.

Но все оказалось легче, чем я думала. Едва только в назначенный час я подошла к Казино, какой-то молодой человек вскочил со скамьи и поспешил мне навстречу. В его растерянности было столько же искреннего, детского, непосредственного, счастливого, сколько и во всех его красноречивых движениях. Он шел ко мне с сияющими благодарной и почтительной радостью глазами, которые, однако, смиренно опустились, едва заметили, что я его узнала. Благодарность редко чувствуется у людей, и как раз наиболее благодарные не находят средств ее выразить, они смущенно молчат, стыдятся и скрывают свое чувство. Но в этом человеке, в котором как бы некий таинственный ваятель точно, пластически и красиво пробуждал каждое движение чувств, светилась и благодарность, излучавшаяся, словно страсть, из самых глубин его тела. Он нагнулся над моей рукой и, нежно склонив тонкие очертания своей юношеской головы, с минуту оставался в смущенной неподвижности. Не сразу вышел он из этого состояния благоговейной робости, спросил меня о здоровье, трогательно посмотрел на меня, и столько почтительности было в каждом его слове, что уже через несколько минут у меня исчезли последние опасения и прошедшее уплыло назад, как облако.

А окружавший нас волшебный вид словно отражал это просветление чувства. На море, которое гневно вздымалось вчера, был такой неподвижный, безмятежный штиль, что белым блеском отсвечивал каждый голыш под легким прибоем; Казино — эта адская яма — блестело своим белым мавританским фасадом в безоблачном, шелковом небе,

а тот киоск, под который нас вчера загнал хлещущий дождь, был полон цветов: яркими грудами лежали там густые снопы цветов и растений, белые, красные, зеленые, пестрые, которые продавала молодая девушка в яркой кофте.

Я пригласила его позавтракать со мной в маленьком ресторане, и там молодой незнакомец рассказал мне свою трагическую историю. Она вполне подтверждала мои первые догадки, когда я увидела на зеленом столе его дрожащие, возбужденные руки. Он происходил из старого аристократического рода австрийской Польши, готовился к дипломатической карьере и месяц тому назад с выдающимся успехом сдал свой первый экзамен. Чтобы отпраздновать этот день, его дядя, — один из высших чинов генерального штаба, — у которого он жил, повез его на Пратер, и они вместе пошли на скачки. Его дяде повезло. Он трижды под ряд выиграл. С толстой пачкой банковых билетов вернулись они домой и поужинали в шикарном ресторане. На следующий день начинающий дипломат получил от своего отца в награду за успешно выдержанный экзамен денежную сумму в размере его месячного содержания. Дня за два до того эта сумма показалась бы ему еще большей, но теперь, после того легкого выигрыша, он отнесся к ней равнодушно и небрежно. Сразу же после обеда он поехал на скачки, играл с безумным азартом, полагаясь только на случайность, и его счастье или, вернее, несчастье было таково, что после последнего заезда он покинул Пратер с утроенной суммой в кармане.

И вот его охватила страсть к игре — на скачках, в кафе, в клубах, завладела его временем, оторвала от занятий, распатала нервы и, прежде всего, поглощала деньги. Он ни о чем не мог больше думать, не мог успокоиться и хоть сколько-нибудь овладеть собой. Как-то ночью, вернувшись домой из клуба, где он все проиграл, он нашел,

раздеваясь, в жилете скомканную забытую ассигнацию. Он не мог удержаться, оделся, блуждал по улицам, пока не нашел в каком-то кафе за домино двух игроков, с которыми и просидел до утра. Один раз его выручила замужняя сестра, заплатив долг ростовщикам, проявившим величайшую готовность услужить наследнику громкой аристократической фамилии. Одно время ему снова повезло в игре, но затем он неудержимо покатился вниз, и чем больше он проигрывал, тем более страстно хотелось ему выиграть. Он уже давно заложил свои часы и платье, и, наконец, случилось ужасное: он выкрал из шкапа у старой тетки две жемчужных застёжки, которые она редко носила. Одну он заложил за большую сумму, которую игра учетверила в тот же вечер. Но вместо того, чтобы выпутаться из этого дела, он рискнул всем и проиграл. Ко времени его отъезда кража еще не была обнаружена, и вот он заложил вторую застёжку и, следуя внезапному стремлению, уехал в Монте-Карло, чтобы там добыть вожаделенное богатство. Он продал здесь свой чемодан, платье, зонтик. У него не осталось ничего, кроме револьвера с четырьмя патронами и маленького, усаженного бриллиантами крестика его крестной матери, княгини X., с которым он не хотел расстаться, потому что мать заклинала его никогда не снимать этого креста. Но и этот крест он продал днем за 50 франков, чтобы вечером в последний раз снова испытать мучительную радость игры на жизнь и на смерть.

Все это он рассказал с чарующей грацией, с присущей ему творческой живостью. Я слушала, взволнованная, потрясенная, растроганная, и ни на одно мгновение мне не приходила в голову мысль возмутиться тем, что ведь этот человек, который сидит со мною, — вор. Если бы кто-нибудь сказал мне вчера, мне, женщине с безусловно про-

веденной жизнью, требовавшей в своем присутствии строжайшего соблюдения приличий, что я буду дружески сидеть рядом с совершенно незнакомым мне молодым человеком, чуть постарше моего сына, человеком, который украл жемчужные застёжки, я сочла бы его сумасшедшим. Но во все время его рассказа я не чувствовала ничего, что было бы похоже на ужас. Он рассказал все это так естественно, с такой страстностью, что его история казалась мне скорее рассказом о каком-то бреде, о болезни, и я не находила причин возмущаться. А потом, кому, как не мне, пришлось в минувшую ночь пережить такую бурную неожиданность, что слово «невозможно» потеряло для меня всякий смысл: за эти десять часов я узнала неизмеримо больше жизненной правды, чем до того за сорок лет мирно прожитой жизни.

Но нечто другое все же испугало меня в этой исповеди: это был лихорадочный блеск его глаз, который словно электричеством заряжал нервы его лица, когда он рассказывал о своей страсти к игре. Самый рассказ об этом волновал его, с ужасающей яркостью отражая на его лице напряжение этих часов подъема и муки. Невольно его руки, эти поразительные узкие, нервные руки, снова стали, как тогда за столом, хищными, стремительными существами. Когда он говорил, я видела, как его пальцы дрожат, с силой сжимают друг друга, потом разжимаются и снова сцепляются, а когда он признавался в краже застёжек, они (я невольно подалась назад), подпрыгнув, сделали быстрое воровское движение: я прямо-таки видела, как пальцы яростно схватили драгоценность и торопливо зажали ее в кулаке. С неопишуемым ужасом я поняла, что этот человек до последней капли крови отравлен своей страстью.

Только это одно потрясло и взволновало меня в его рассказе, — эта гибельная привязанность к преступной

страсти молодого, светлого, беззаботного по натуре человека. Моей первой обязанностью было дружески сказать моему неожиданному питомцу, что он должен уехать из Монте-Карло, где он подвергается опаснейшим искушениям, что он сегодня же должен вернуться к своей семье, пока не заметили пропажу застежек и его будущее не погибло навсегда. Я обещала дать ему денег на дорогу и на выкуп драгоценностей, но с условием, что он сегодня же уедет и поклянется честью никогда больше не брать в руки карты и вообще не играть в азартные игры.

Я никогда не забуду, с какой смиренной, а потом светлой и страстной благодарностью слушал меня этот чужой, павший человек, как он пил мои слова, когда я обещала ему помочь, и вдруг он протянул обе руки через стол и схватил мои руки незабываемым движением, в котором слились и преклонение передо мной и обет. В его светлых, обыкновенно чуть-чуть беспокойных глазах стояли слезы, все его тело слегка дрожало от счастливого волнения. Я уже пыталась передать вам исключительную выразительность его движений, но это движение я не могла бы передать; в нем было столько экстаза, такая неземная одухотворенность, которую вряд ли можно увидеть на человеческом лице.

К чему умалчивать: я не выдержала этого взгляда. Благодарность делает вас счастливым потому, что редко приходится испытывать ее. Нежность благотворна, и для меня, сдержанного, холодного человека, этот ее избыток был источником нового ощущения счастья. А кругом, вместе с этим сраженным и растоптанным человеком, волшебю оживала природа после вчерашнего дождя. Когда мы вышли из ресторана, нам навстречу пышно засверкало успокоившееся море, синее, как небо, с белыми пятнами — чайками — в другой, горной синеве. Вы ведь знаете ланд-

шафт Ривьеры. Он всегда прекрасен, но всегда один и тот же, как открытка с видом, постоянные пышные краски, спящая, неподвижная красота, по которой равнодушно скользит взгляд, почти восточная в своей извечной истоме. Но иногда, очень редко, случаются дни, когда эта красота просыпается, когда она словно кричит веселыми, сверкающими красками и яркими цветами, когда она победно бросает вам навстречу свои пестрые цвета, когда она горит, пылает своей чувственностью. И в такой вот одухотворенный день вылился этот хаос бурной ночи. Улицы казались омытыми, небо бирюзовым, повсюду в ожившей зелени многоцветными факелами пламени цветы. Горы словно вдруг приблизились в ясном, напоенном солнцем воздухе. Одним взором можно было почувствовать бодрящий зов этой природы, и невольно она завладевала сердцем. «Возьмите экипаж,— сказала я,— и проедемся вдоль берега.»

Он радостно кивнул. Казалось, впервые со времени своего приезда этот юноша вообще замечал окружающее. До этого времени он ничего не знал, кроме душного зала Казино с тяжелым запахом пота, скопления отвратительных людей и неприветливого, серого, слезящегося моря. Теперь перед нами лежал сказочный веер залитого солнцем берега, и взгляд счастливо скользил в даль. Мы медленно ехали в коляске (тогда еще не было автомобилей) вдоль по восхитительной дороге, мимо вилл и далей, и возле каждого дома, возле каждой спрятанной в яркой зелени виллы, в душе шевелилось затаенное желание: здесь можно было бы жить, тихо, радостно, вдали от мира!

Была ли я когда-нибудь более счастлива, чем в тот час? Не знаю. Рядом со мной в экипаже сидел этот молодой человек, которого еще вчера я видела в цепких объятиях смерти. Он светился счастьем. Казалось, годы поки-

нули его. Он стал совсем мальчиком, красивым, веселым ребенком с резвыми и в то же время благоговейными глазами. Но больше всего трогала меня его чуткость: как только на подъеме коляска останавливалась и лошадям становилось трудно, он быстро соскакивал и подталкивал сзади экипаж. Едва я называла какой-нибудь цветок или показывала его на дороге, он спешил сорвать мне его. Маленькую черепаху, которая, соблазненная вчерашним дождем, тяжело ползла по дороге, он заботливо снес в зеленую траву, чтобы колеса проезжающих экипажей ее не раздавили. Весело и живо он рассказывал мне смешные, милые истории. Мне казалось, что этот смех выручал его, иначе он начал бы петь и прыгать или безумствовать, — так счастлив, так взбудоражен был он своей внезапной переменной настроением.

Наверху, когда, свернув направо, мы медленно проезжали через маленькую деревушку, он вдруг почтительно снял шляпу. Я удивилась: кого приветствовал он здесь, этот чужой среди чужих? Когда я спросила, он слегка покраснел и сказал, словно извиняясь, что мы проехали мимо церкви, а у них в Польше, как и во всех строго католических странах, с детства приучаются снимать шляпу перед каждым храмом. Я тотчас же вспомнила о том кресте, о котором он мне говорил, и у меня вдруг мелькнула мысль. «Стойте», крикнула я кучеру и поспешно вылезла из экипажа. Он последовал за мной, удивленный: «Куда мы идем?» Я ответила только: «Идите за мной».

Я пошла с ним назад к церкви. Это была маленькая кирпичная деревенская церковь с белыми оштукатуренными стенами. Дверь была открыта, и желтый сноп света остро врезался в сияющую темноту, где у маленького алтаря стлались синие тени. словно дремлющее око, горели в дышащем ладаном сумраке две свечи. Мы вошли.

Он снял шляпу, погрузил руку в чашу со святой водой, перекрестился и преклонил колени. Как только он встал, я сразу потянула его за собой. «Пойдемте туда, — сказала я, — к алтарю или к святой для вас иконе, и принесите обет, который я вам подскажу.» Он смотрел на меня, удивленный, но потом, поняв меня, подошел к нише, перекрестился и опустился на колени. «Повторяйте вслед за мной, — сказала я, сама дрожа от волнения. — Повторяйте за мной: я клянусь»... «Я клянусь», повторил он, и я продолжала: «...что никогда больше не приму участия в игре на деньги, какова бы она ни была, что никогда больше я не отдам этой страсти мою жизнь и мою честь.»

Дрожа, он повторял эти слова; громко и четко звучали они в пустом, чутком пространстве. Потом стало тихо, так тихо, что можно было слышать, как шелестят деревья, по верхушкам которых шаловливо гуляет ветер. И вдруг он склонился, как кающийся, и заговорил сам, в таком экстазе, какого я никогда не слыхала. Это были быстрые, смятенные, подталкивающие одно другое польские слова, которых я не понимала. Но это должно было быть молитвой экстаза, молитвой благодарности и покаяния, ибо все снова и снова, как кающийся, смиренно склонял он голову к пюпитру, все с большей страстностью следовали друг за другом непонятные слова, и все громче одно и то же, с невыразимой пламенностью, повторялось слово. Никогда—ни до того, ни после—не слыхала я в церкви такой молитвы. Его руки судорожно хватались за дерево пюпитра, все тело его сотрясалось от внутренней бури, которая то вздымала его, то снова низвергала. Он ничего не видел, ничего не чувствовал. Все в нем казалось из другого мира, словно он был в очистительном огне преобразования. Потом он медленно встал, перекрестился и устало повернулся. Его колени дрожали, его лицо было бледно,

как у вконец изнуренного человека. Но когда он меня увидел, его глаза просияли, ясная, поистине набожная улыбка озарила его неземное лицо. Он подошел ближе, низко, по-русски поклонился, взял меня за обе руки и почтительно поцеловал их: «Вас бог послал мне. Я благодарил его за это». Я не знала, что сказать, но мне хотелось, чтобы вверху вдруг заиграл орган, ибо я чувствовала, что мне все удалось: этот человек был спасен навсегда.

Мы вышли из церкви к сияющему, брызжущему, словно майскому солнцу. Никогда мир не казался мне прекраснее. Два часа мы ехали вдоль по холмистой, переливающей красками дороге. Мы больше не говорили. После того подъема чувств все слова казались нам ничтожными. Но каждый раз, когда мой взгляд встречался с его взглядом, он с такой светлой радостью, с такой пылкой благодарностью смотрел на меня, что я смущенно отводила взгляд.

Было пять часов, когда мы вернулись в Монте-Карло. Здесь я должна была зайти к моим родственникам, и от этого обещания нельзя было уклониться. К тому же мне было даже хорошо побыть немного вдали от него. Счастья было слишком много. Мне нужно было отдохнуть от этого знойного, экстагического состояния, какого я никогда в жизни не испытывала. Поэтому я только на минуту попросила моего питомца зайти ко мне в отель и передала ему деньги на дорогу и на выкуп драгоценностей. Мы условились, что, пока я буду делать свой визит, он купит себе билет. Вечером, в семь часов, мы встретимся у входа на вокзал и побудем с полчаса вместе, пока генуэзский поезд не увезет его домой. Когда я протянула пять банковых билетов его пальцы как-то замешкались и губы страшно побледнели: «Нет, не надо денег... прошу вас... не надо денег», тихо, с трудом проговорил он сквозь зубы, беспомощно

отдергивая дрожащие пальцы. «Не надо денег... не надо денег... Я не могу их видеть», повторил он, словно охваченный невольным отвращением или страхом. Но я успокаивала его, сказав, что я ведь только даю ему в долг и что, если это стесняет его, он может дать мне расписку. «Да... да... расписку...», пробормотал он, отворачивая взгляд. Он скомкал ассигнации, поспешно сунул в карман, не посмотрев даже на них, словно они прилипали к пальцам или обжигали руку, и размашистым, торопливым почерком набросал несколько слов на клочке бумаги. Когда он поднял голову, он был совсем бледен. Казалось, что-то душило его, что-то поднималось в нем, и, едва он протянул мне листок, какой-то порыв мощно охватил его всего, и вдруг—я невольно отшатнулась—он упал на колени и поцеловал край моего платья. Непередаваемо было это движение: я дрожала всем телом от невероятной силы этого смирения. Я с трудом овладела собой и помогла ему встать. Мне было страшно. В смятении я могла только прошептать: «Я очень признательна вам за то, что вы так благодарны. Но теперь, прошу вас, уйдите. Вечером в семь часов мы простимся на вокзале».

Он взглянул на меня. Его глаза светились растроганно, губы дрожали. Одно мгновение я подумала, что он хочет что-то сказать, одно мгновение казалось, что его словно тянет ко мне, но вдруг он еще раз низко, низко склонился и вышел из комнаты.

* * *

Снова миссис К. прервала свой рассказ. Она встала и подошла к окну и долго неподвижно смотрела в него. По темному очертанию ее спины я видел, что всю ее сотрясает мелкая дрожь. Потом она решительно повернулась. Словно разрывая что-то, она с силой развела руки, оста-

вавшиеся до тех пор спокойными и безучастными. Потом она твердо, почти вызывающе посмотрела на меня и порывисто продолжала:

— Я обещала вам быть до конца откровенной. И теперь вижу, как необходимо для меня самой было это обещание. Ибо только теперь, когда я заставляю себя рассказывать в последовательном порядке о событиях этого часа и подыскивать слова для выражения чувств, которые были тогда совершенно спутанными и смутными, только теперь я вижу ясно многое такое, чего тогда не знала. Но я хочу сурово и решительно сказать правду и самой себе и вам. В ту минуту, когда этот юноша вышел за дверь и я осталась одна, мне показалось, что в опустелой комнате сразу стало темно. Что-то 'смутное давило меня, что-то делало мне больно. До сегодняшнего дня я не признавала или не хотела понять это чувство. Но сегодня, когда я заставляю себя беспощадно и ясно представить себе все, что было, и не могу перед вами ничего утаивать, не могу трусливо замалчивать посрамленного чувства, сегодня для меня ясно: эту боль мне причиняло разочарование... разочарование, что этот юноша ушел от меня так... не попытавшись удержать меня... остаться у меня... что он так почтительно и покорно подчинился моей первой просьбе уехать... вместо того, чтобы привлечь меня к себе... что он благоговел передо мной, как перед святой, которая предстала ему на пути... и не чувствовал во мне женщины.

Это было разочарование для меня... разочарование, в котором я ни тогда, ни позже не признавалась себе, но чувство женщины знает все, знает без слов и без сознания. В ту секунду, когда закрылась дверь, я почувствовала словно гнев, словно озлобление, и это чувство было тем болезненнее, чем с большей страстностью я рвалась к нему,

потому что... теперь я это знаю, если бы этот молодой человек обнял меня тогда, если бы он приказал мне, я пошла бы за ним на край света, я втоптала бы в грязь мое имя, имя моих детей... я с таким же равнодушием к людской молве и голосу рассудка ушла бы с ним, как мадам Анриет с тем молодым франдузом, которого она накануне еще не знала... Я не стала бы спрашивать, куда и надолго ли, я не стала бы оглядываться на свою жизнь... я отдала бы этому человеку мои деньги, мое имя, мою честь, мои силы, я пошла бы просить милостыню, и нет на свете такой низости, к которой он не мог бы меня склонить. Все, что люди называют стыдом и осторожностью, я отбросила бы прочь, если бы он хоть одним шагом, одним словом подошел ко мне ближе, если бы он попытался привлечь меня к себе, удержать меня: я потеряла себя в это мгновение.

Но... я уже сказала вам... этот странный человек не видел больше ни меня самое, ни женщину, которая была во мне... и то, как я предалась ему, каким огнем он меня зажег, я почувствовала только тогда, когда осталась одна, когда та страсть, что еще недавно возвеличивала его просветленное, его серафическое лицо, мраком упала мне на душу и бушевала в пустоте осиротелой груди. С трудом я овладела собой: ведь мне предстояло еще выдержать этот томительный визит. На меня словно надели тяжелый железный шлем, и я шаталась под его тяжестью. Мои мысли не слушались меня, как и мои шаги, когда я устало шла в другой отель к моим родственникам. Там я тупо сидела, среди нудной болтовни, и всякий раз пугалась, когда, подняв глаза, видела эти неподвижные лица, которые, в сравнении с тем, оживлявшемся игрою света и тени лицом, казались жалкими, замороженными масками. Я сидела словно среди мертвецов, до того жутко, безжизненно

было их присутствие, и, в то время как я бросала в чашку сахар и рассеянно беседовала, во мне все время вставало, словно влекомое кверху клочкотанием крови, то, другое лицо, видеть которое было для меня огромной радостью и которое я—страшно подумать—должна была через два часа увидеть в последний раз. Вероятно, я тихо вздохнула или застонала, потому что вдруг ко мне наклонилась кухня моего мужа и озабоченным шопотом спросила, что со мной, не нездоровится ли мне, отчего у меня такое бледное, утомленное лицо. Этот неожиданный вопрос дал легкий повод тут же ответить, что мне действительно не по себе и что я прошу у нее разрешения незаметно уйти.

Так счастливо предоставленная самой себе, я тотчас же поспешила к себе в отель. И едва я очутилась там одна, как снова меня охватило это чувство пустоты, покинутости и вместе с ним страстное влечение к этому юноше, с которым я сегодня должна была расстаться навсегда. Я металась по комнате, без нужды открывала ящики, переделалась и вдруг очутилась перед зеркалом, смотрясь в него и думая, что, может быть, такой вот нарядной мне еще удастся удержать его. И вдруг я поняла: я не хочу его отпускать. И в один бурный миг это желание стало решением. Я побежала к портье, сказала ему, что уезжаю сегодня с вечерним поездом. Надо было торопиться: я позвонила горничной, чтобы она помогла мне уложить вещи, — времени оставалось мало, — и пока мы с нею, словно вперегонку, запакивали в чемоданы платья и мелочи, я рисовала себе, как совершится эта неожиданность: как я пойду с ним к поезду и в последнее, самое последнее мгновение, когда он протянет мне руку, чтобы проститься, войду к нему, удивленному, в купе, и буду с ним эту ночь, и следующую, пока он хочет. Каким-то восхищен-

ным, окрыленным возбуждением зажглась во мне кровь; иногда я громко смеялась, видя недоумение горничной, дивившейся тому, как я швырю платья в сундуки. Я почувствовала, что мысли у меня путаются, и когда слуга пришел за сундуками, я удивленно взглянула на него: слишком трудно было думать обо всем сразу при этом обуревавшем меня волнении.

Надо было спешить, уже пробило семь часов, у меня оставалось, в лучшем случае, только двадцать минут до отхода поезда, хотя — утешала я себя — теперь прощание уже не важно, ибо никакого прощания не будет, и я уеду с ним, я останусь с ним, пока он этого захочет. Слуга вынес вещи, а я пошла расплатиться в кассу отеля. Уже управляющий протягивал мне сдачу, уже я хотела идти дальше, как вдруг кто-то тихонько тронул меня за плечо. Я вздрогнула. Это была моя кузина. Обеспокоенная моим недомоганием, она пришла навестить меня. У меня потемнело в глазах. Я не могла с ней оставаться. Каждая секунда промедления могла оказаться роковой. Но делать было нечего, я должна была с ней хоть немного поговорить. «Ты должна лечь, — настаивала она, — у тебя, несомненно, лихорадка.» Так, наверно, и было, в висках у меня стучало, а на глаза набегали синие тени обморока. Но я боролась с собой, старалась успокоить ее, быть вежливой, хотя каждое слово жгло меня, хотя эти неуместные заботы я охотнее всего отпихнула бы ногой. Но непрощенная гостья стояла, предлагала мне одеколон, не поленилась сама натереть мне виски. А я считала минуты, думала о нем и искала предлога освободиться от этого мучительного участия. И чем беспокойнее я становилась, тем это казалось ей подозрительнее. Она чуть ли не силой хотела отвести меня в мою комнату и уложить в постель. Но вдруг, пока она меня уговаривала, я увидела посреди

зала часы: двадцать восемь минут восьмого, а поезд уходил в 7 часов 35 минут. Резко, стремительно, с грубым равнодушием отчаяния, протянула я кузине руку: «Прощай, мне надо ехать», и, не обращая внимания на ее остолбеневший взгляд, не оглядываясь, я поспешила к двери мимо удивленных лакеев, выбежала на улицу и бросилась к вокзалу. По взволнованным жестам слуги, который ждал меня с багажом, я издали поняла, что я поспела в последнюю минуту. Бешено устремила я к проходу, но тут меня остановил контролер: я забыла купить билет. И пока я отчаянно уговаривала пропустить меня на перрон, поезд уже тронулся. Дрожа всем телом, я устремила вперед неподвижный взгляд, надеясь поймать в окне вагона хотя бы взгляд, поклон, привет, но в движении поезда я не могла уже различить его лица. Вагоны ускоряли свой бег, и через минуту перед моими потемневшими глазами не осталось ничего, кроме облака черного дыма. Повидимому, я стояла, словно окаменев. Не знаю, сколько времени, потому что слуга несколько раз пытался заговорить со мной, пока, наконец, не отважился тронуть меня за руку. Только тогда я очнулась. Он спросил меня, надо ли отвезти обратно в отель мой багаж. Прошло несколько минут, пока я сообразила. Нет, это было невозможно, я не могла больше вернуться туда после моего сумбурного, смешного бегства, да я и не хотела туда возвращаться. Я велела ему сдать багаж на хранение. Мне хотелось поскорее остаться одной. И только тогда, среди безостановочно кипевшей толпы, которая шумно наполняла вокзал и снова редела, я попыталась подумать ясно, подумать о том, как мне вырваться из нестерпимого, мучительного удушья гнева, отчаяния и тоски, потому что — к чему скрывать — мысль о том, что я по своей вине упустила последнюю встречу, безжалостно,

словно раскаленным железом, жгла меня. Мне хотелось кричать, с такой болью в меня вонзалось, все немилосерднее, это раскаленное докрасна острие. Быть может, только совершенно бесстрастные люди в неповторимые минуты могут испытать такую страсть: прожитые годы, нетронутые силы с тяжелым грохотом обрушиваются на грудь. Никогда — ни до того, ни после — я не переживала ничего похожего на то мгновение, когда я, готовая на безумный поступок, готовая разом отречься от всей своей замкнутой, размеренной, сдержанной жизни, вдруг очутилась перед стеной нелепости, о которую бессильно разбилась моя страсть.

То, что я делала, не могло не быть таким же нелепым. Это было безрассудно, даже глупо. Мне почти стыдно вам об этом рассказывать, но я обещала себе, обещала вам ни о чем не умалчивать. Так вот, я... я... начала снова искать его... т.-е. я старалась вернуть мгновения, проведенные вместе. Меня неудержимо тянуло к тем местам, где мы были накануне, к садовой скамейке, от которой я оторвала его, к игорному залу, где я его впервые увидела, даже в ту трущобу, только бы еще раз, еще раз пережить прошедшее. А завтра поехать в экипаже вдоль по берегу, той же дорогой, чтобы восстановить каждое его слово, каждое движение; да, мое смятение было таким нелепым, таким ребяческим, что теперь, спустя двадцать лет, холодно оглядываясь назад, я сама его не понимаю. Но мне нужен был этот самообман, ибо я не могла оставаться одна в моей беспомощности, в моем неистовом отчаянии. Человек или поймет это, или не поймет вовсе. Быть может, нужно пламенное сердце, чтобы постичь это.

И вот, я пошла в игорный зал искать тот стол, за которым он играл, и там, среди всех этих рук, вспомнить его руки. Я вошла. Я помнила, он сидел за левым

столом во второй комнате. Передо мною еще стояло каждое его движение. Я нашла бы его место, идя во сне с закрытыми глазами и протянутыми вперед руками. Итак, я вошла и пересекла зал. И тут... когда я у двери посмотрела на этих людей... со мной случилось что-то странное... там он сидел... он сам... он... он... такой же, каким я его сейчас видела, закрыв глаза... такой же, как вчера... застывший, устремивший глаза на шарик, нечеловечески бледный... Но это был он... несомненно он...

Я чуть не вскрикнула от испуга. Но я подавила свой страх перед этим бессмысленным видением и закрыла глаза. «Ты безумна... ты гредишь... у тебя лихорадка... — говорила я себе.— Это невозможно, ты галлюцинируешь... Уже полчаса, как он уехал.» Тогда я снова открыла глаза. Но такой же, каким я видела его в первый раз, он сидел там... живой... несомненно он... Среди миллионов рук узнала бы я его руки... Я не гредила, это было действительно он. Он не уехал, как поклялся мне, он сидел здесь. Эти деньги, что я дала ему на дорогу, он принес сюда, к зеленому столу и, весь отдавшись своей страсти, играл, в то время как я с таким отчаянием рвалась к нему.

Что-то толкнуло меня вперед. Это была ярость, безумное, яростное желание задушить клятвопреступника, который так позорно предал мою веру, мое чувство, то, чем я пожертвовала для него. Но я пересилила себя. Тихо, совсем тихо я подошла к столу и стала как-раз против него. Кто-то вежливо уступил мне место. Только два метра зеленого сукна разделяли нас, и я, словно из ложи театра, могла глядеть на его лицо, то самое лицо, которое два часа назад светилось благодарностью, а теперь снова судорожно гило в адском пламени страсти. Руки, те самые руки, которые еще днем недвижно лежали для святой клятвы на церковной скамье, теперь неистово сжимались

и жадно, как вампиры, тянулись к золоту. Он выиграл, он, должно быть, очень много выиграл. Перед ним в беспорядке лежал большой ворох фишек, луидоров и ассигнаций, и его пальцы, дрожащие, нервные пальцы, с наслаждением окунались в них. Я видела, как они гладили и складывали отдельные билеты, ласкали и кружили золотые монеты, потом вдруг схватывали целую горсть их и бросали на какую-нибудь клетку; каждый окрик крупье отрывал от денег его жадно горевшие глаза и устремлял их к дробно стучавшему шарик, туловище склонялось вперед, и только локти были словно гвоздями прибиты к зеленому столу. Еще страшнее, еще ужаснее, чем в прошлый вечер, казался этот одержимый, ибо каждое его движение убивало во мне его прежний, словно на золотом поле сияющий образ, который я так легковерно носила в сердце.

На расстоянии двух метров друг от друга мы тяжело дышали оба. Я пристально смотрела на него, но он не замечал меня. Он не видел меня, он никого не видел, его взгляд скользил только к деньгам и загорался, когда шарик снова начинал вертеться. В этом гибельном зеленом поле были заключены и метались взд и вперед все его мысли; весь мир, все человечество собралось для него здесь, на этом суконном четырехугольнике. И я знала, что могу часами здесь стоять, а он и не почувствует моего присутствия.

Но я не могла терпеть больше. Внезапно решившись, я обошла стол, подошла к нему сзади и крепко впилась рукой ему в плечо. Он вяло поднял глаза, тупо посмотрел на меня стеклянными зрачками, как глядит пьяный, которого подняли от сна и чей взгляд еще мутен от окутавшего его тумана. Потом он будто узнал меня, его губы раскрылись, дрожа, он взглянул радостно и тихо прошептал, взволнованно и таинственно:

«Идет хорошо... я так и знал, как только вошел сюда и увидел, что он тут... Я так и знал...»

Я не понимала. Я видела только, что он опьянен игрой, что этот безумец забыл обо всем, забыл свою клятву, забыл наш уговор, забыл меня и весь мир. Но даже и теперь, в этой одержимости, его экстаз так захватил меня, что я невольно не прерывала его и недоуменно спросила, о ком он говорит.

«Вот там, старый русский генерал, однорукий, — шептал он, вплотную придвигаясь ко мне, словно поверял какую-то волшебную тайну.— Там, с седыми бакенбардами... Позади него стоит слуга. Он всегда выигрывает, я это еще вчера заметил. У него, должно быть, какая-то система, и я ставлю на те же цифры, что и он... Он и вчера все время выигрывал... Вчера он выиграл тысяч двадцать... И сегодня выигрывает на каждой ставке... Теперь я все время ставлю, как он... Теперь...»

Вдруг он замолчал, так как раздался резкий возглас крупье: «Faites votre jeu!», и взгляд его скользнул прочь от меня. Он отвернулся и начал жадно смотреть туда, где важно и спокойно сидел седой русский, который задумчиво положил на четвертое поле золотую монету, а затем, нерешительно, еще одну. Тотчас лихорадочно сжались его пальцы и кинули горсть монет на то же самое место. Когда, через минуту, крупье провозгласил: «Нуль!» и лопатка мигом очистила весь стол, он остолбенело посмотрел вслед исчезающим деньгам. Но он даже и не подумал обернуться ко мне: он забыл обо мне, я выпала, исчезла из его жизни, его внимание было приковано только к русскому генералу, который невозмутимо покачивал на ладони две золотых монеты, раздумывая, куда их поставить.

Я не могу передать вам мою горечь, мое отчаяние. Но поймите меня: я пожертвовала для этого человека

всей моей жизнью, и он обошелся со мною, как с какой-то назойливой мошкой, от которой небрежно отмахиваются рукой. Гнев охватил меня. Яростно, что было силы, я впиалась ему в руку, так что он вздрогнул.

«Вы сейчас же встанете, — сказала я ему тихо, но повелительно. — Вспомните о той клятве, которую вы дали мне сегодня в церкви, клятвопреступник, жалкий человек!»

Он взглянул на меня и побледнел. В его глазах появилось жалкое выражение побитой собаки, его губы дрожали. Он как будто сразу вспомнил все случившееся, и словно ужас охватил его.

«Да... да... — пролепетал он. — Боже мой... Боже мой... Я иду... Простите...»

И его рука уже загребала деньги, сначала быстро, порывистым, неистовым движением, потом медленнее, слабей, замирая. Его взгляд снова упал на русского генерала, который как-раз делал ставку.

«Еще одну минуту. — Он быстро бросил пять золотых монет на то же поле, что и генерал. — Только одну эту игру. Клянусь вам... я тотчас же уйду... только эту игру... только...»

И снова оборвался его голос. Шарик завертелся и увлек его за собой. Снова этот безумный ускользнул от меня, ускользнул от самого себя и низвергся в этот полированный лоток, где метался и подскакивал маленький шарик. Снова прокричал крупье, снова загребла лопатка его пять золотых монет. Он проиграл.

Он не обернулся. Он забыл обо мне. Забыл о клятве, забыл о слове, которое дал мне за минуту до того. Снова судорожно потянулась его рука к убывавшей стопке денег, а пьяный взгляд был прикован к магниту его воли, к сидевшему напротив чародею.

Мое терпение истощилось. Я снова схватила его, теперь уже с бешеной силой. «Вы сейчас же встанете. Сейчас же. Вы сказали, что только одну эту игру...»

Но тут случилось нечто неожиданное. Он быстро обернулся. Но теперь это уже не было лицо смущенного, униженного человека, это было искаженное бешенством лицо, с дрожащими от ярости губами и горящими глазами. «Оставьте меня в покое,—прошипел он.— Уйдите! Вы приносите мне несчастье. Каждый раз, когда вы здесь, я проигрываю. Вчера так было и сегодня тоже. Уйдите!»

Я было растерялась. Но его безумие развязало и мой гнев.

«Я приношу вам несчастье! — закричала я. — Вы лгун, вы вор! Вы поклялись мне...»

Но я не могла продолжать, потому что одержимый вскочил и оттолкнул меня, не слыша поднявшегося вокруг нас шума. «Оставьте меня в покое! — закричал он во весь голос. — Я не на вашем попечении... вот... вот... ваши деньги. — И он бросил мне несколько стофранковых билетов. — Но теперь оставьте меня в покое!»

Он прокричал это громко, как сумасшедший, не обращая внимания на сотни стоявших кругом людей. Все они смотрели, шушукались, указывали на нас, смеялись, и даже из соседнего зала входили любопытные. Меня словно раздели, и я, обнаженная, стояла перед этой толпой.

«Тише, сударыня, прошу вас», громко и властно сказал крупье и постучал лопаточкой по столу. И голосу этого ничтожного человека я повиновалась. Униженная, сгорая от стыда, стояла я перед этой шепчущейся толпой любопытных, стояла как девка, которой швырнули деньги. Двести, триста наглых глаз смотрели мне прямо в лицо, и, когда я, согнувшись, сгорбившись от унижения и стыда, посмотрела в сторону, я увидела чьи-то застывшие от изумле-

ния глаза. Это была моя кузина. Почти лишаясь чувств, с широко раскрытым ртом, она смотрела на меня, поднимая, словно от ужаса, руку. Это меня сразило. Не успела она пошевелиться, не успела опомниться от неожиданности, как я ринулась вон из зала. Я успела добежать до скамейки, на которую вчера свалился этот безумец. И так же бессильно, так же устало, так же разбито упала я на твердое, безжалостное дерево.

С тех пор прошло уже двадцать четыре года, и все же, когда я теперь вспоминаю, как я, отхлестанная его оскорблением, стояла перед тысячью чужих людей, кровь стынет у меня в жилах, и я с ужасом думаю, до чего же слабо, жалко и дрябло все то, что мы громко называем душой, духом, чувством, что мы называем страданием, если даже при высшем своем напряжении они бессильны разорвать на части измученную плоть, истерзанное тело, если можно, в полном здравьи, с продолжающим биться сердцем, пережить такие минуты и не умереть, не упасть, как падает сраженное молнией дерево. Только на один миг эта боль осилила меня, когда я, не дыша, ничего не сознавая, с каким-то сладостным чувством близящейся смерти, упала на скамью. Но—я уже сказала—всякое страдание трусливо; оно отшатывается перед властной потребностью жить, которая в нашем теле, в нашей крови сильнее, чем у наших нервов и нашей воли. Я снова встала, не зная, что делать. Вдруг я вспомнила, что мои сундуки готовы, и тотчас же меня пронизала мысль: «прочь, прочь отсюда, прочь из этого проклятого притона!» Ни на кого не обращая внимания, я побежала к вокзалу, спросила, когда идет поезд в Париж. «В 10 часов», ответил мне портье, и я тотчас же сдала багаж. 10 часов... В 10 часов будут как-раз сутки после той ужасной встречи, сутки, до того насыщенные переменной грозой противоречивейших чувств, что мой

внутренний мир был навсегда уже опустошен. Но теперь я ничего уже не чувствовала, ничего не слышала, кроме одного слова, которое стучало, словно молоток: «прочь, прочь, прочь!» Кровь, словно клин, забивала мне в виски: «прочь, прочь, прочь!» Прочь от этого города, от меня самой! Домой, к моим близким, назад, к моему прошлому, к моей собственной жизни!

На утро я приехала в Париж, там сразу же на другой вокзал, прямо в Булонь, из Булони — в Дувр, из Дувра — в Лондон, из Лондона — к моему сыну, все это безостановочно, стремительно, ни о чем не размышляя, не думая, двое суток без сна, не промолвив ни слова, не взяв в рот куска, двое суток слыша, как колеса выстукивают только одно слово: «прочь, прочь, прочь, прочь!»

Когда я, наконец, неожиданно оказалась в доме моего сына, все ужаснулись. Должно быть, что-то произошло. Должно быть, что-то было в моем лице, в моем взгляде, что выдало меня. Мой сын хотел обнять меня, поцеловать. Я отшатнулась. Я не могла перенести мысли, что он прикоснется к губам, которые опозорили его. Я уклонилась от всяких расспросов, сказала только, чтобы мне приготовили ванну, потому что чувствовала необходимость смыть с себя дорожную грязь и то, что еще словно жгло мое тело после страсти этого одержимого, этого недостойного человека. Потом я добралась до своей комнаты и двенадцать, четырнадцать часов спала тяжелым, каменным сном, каким не спала никогда, ни до того, ни впоследствии, сном, после которого я знаю, что значит лежать в гробу и быть мертвым. Мои близкие тревожились обо мне, как о больной, но их заботливость причиняла мне только боль, мне было стыдно их почтительности, их уважения. Я должна была вечно остерегаться, чтобы вдруг не закричать, не признаться, как я всех их предала,

забыла, покинула ради какой-то безумной, сумасбродной страсти.

Затем я без всякой цели переехала в маленький французский городок, где никого не знала, потому что меня вечно преследовал страх, что каждый с первого взгляда узнает о моем позоре, о том, кем я стала; я чувствовала, что я навсегда предана, загрязнена до самой глубины души. Часто, просыпаясь утром, я безумно боялась открыть глаза. Снова мной овладевало воспоминание о той ночи, когда я вдруг проснулась рядом с чужим полураздетым человеком, и каждый раз, как и в ту ночь, мне хотелось только одного: сейчас же умереть.

Но, в конце концов, время обладает великой силой, а старость—поразительно обесценивает все чувства. Чуешь, что подходит смерть, что черная тень ее ложится на дороге, все начинает казаться не таким ярким, не так уже действует на нас и теряет большую часть своей опасной силы. Мало-по-малу я излечилась от этого потрясения, и, когда я, десять лет тому назад, встретив в одном обществе некоего молодого поляка, атташе австрийского посольства, спросила его о той семье, и он мне рассказал, что десять лет тому назад сын этого его родственника застрелился в Монте-Карло, — я даже не вздрогнула. Мне даже почти не было больно. Быть может,—к чему отрицать собственный эгоизм?—я даже почувствовала какое-то облегчение, ибо исчез последний страх, что я когда-нибудь его встречу.

Я стала спокойнее, могла спокойнее думать и беззаботнее вспоминать. Состариться—это не что иное, как перестать бояться прошлого.

И теперь вы поймете, как я вдруг пришла к мысли рассказать вам о своей судьбе. Когда вы взяли под свою защиту мадам Анриет и горячо сказали, что сутки могут до конца определить судьбу женщины, мне показалось

словно речь идет обо мне. Я была вам благодарна потому, что впервые почувствовала себя как бы оправданной и извиненной. И тогда я подумала: если я хоть раз открою свою душу, может быть, это умрет навсегда; может быть, завтра я смогу спокойно пойти туда, спокойно войти в этот зал, где я с ним сидела; может быть, я, наконец, освобожусь от ненависти к самой себе. И тогда камень свалится с души, всей своей тяжестью ляжет на прошлое, и оно никогда уже не воскреснет. Мне хорошо, что я рассказала вам это, мне теперь легче и почти радостно... Я благодарна вам за это...

С этими словами она встала. Я понял, что она кончила. Смущенно я искал каких-то слов. Должно быть, она почувствовала мое замешательство и быстро предупредила меня:

— Нет, прошу вас, ничего не говорите... Мне бы не хотелось, чтобы вы что-нибудь говорили или отвечали... Примите благодарность за то, что вы меня выслушали, и желаю вам счастливого пути.

Она протянула мне руку на прощанье. Невольно я посмотрел ей в лицо, и было странно видеть эту старую женщину, которая, приветливо и в то же время немного стыдась, стояла передо мной. Был ли это ответ минувшей страсти, или смущение залило беспокойным румянцем ее лицо вплоть до седых волос, но она казалась молодой девушкой, смущенной воспоминаниями и стыдящейся своего признания.

Я был взволнован, мне хотелось найти слова, чтобы выразить ей свое уважение. Но горло судорожно сжалось. Я низко склонился и почтительно поцеловал ее поблекшую, слегка дрожащую, как осенняя листва, руку.

ЗАКАТ ОДНОГО СЕРДЦА

ПЕРЕВОД П. С. БЕРНШТЕЙН

Для того чтобы создать в человеческом сердце роковой надрыв, судьба не всегда прибегает к сильному размаху и резкому удару; из ничтожных причин вывести гибель — вот в чем находит удовлетворение ее неукротимое творческое своеволие. На нашем тусклом обывательском языке это первое легкое прикосновение мы называем поводом и в изумлении сравниваем его незначительность с той мощной и непреходящей силой, которая из него развивается; но подобно тому как болезнь начинается задолго до того, как она обнаруживается, так и судьба человека возникает не в ту минуту, когда она становится очевидной и сбывшейся: долго она таится в глубинах нашего существа, овладевая нашей кровью, прежде чем коснется нас извне. Самопознание уже равносильно сопротивлению, и тщетно оно — почти всегда.

* *
*

Старик Соломонсон — у себя на родине он имел право именоваться тайным коммерции советником Соломонсоном — проснулся однажды ночью в гостинице в Гардоне, где он проводил Пасху со своей семьей, — проснулся от жестокой боли: будто тисками был сдавлен его живот, и дыхание с трудом вырывалось из напряженной груди. Старик испугался: он часто страдал желчными коликами, а между тем, вопреки совету врачей, он предпочел пребывание на юге

курсу лечения в Карлсбаде. Опасаясь грозного припадка, он в страхе ощущал свой широкий живот и, несмотря на мучительную боль, несколько успокоился, установив, что тяжесть сосредоточена в области желудка, — очевидно, благодаря непривычной итальянской кухне или вследствие легкого отравления, часто постигающего путешественников в этой стране. Со вздохом облегчения он отвел дрожащую руку, но тяжесть не проходила и затрудняла дыхание. Застонав, он тяжело поднялся с постели, чтобы движением заглушить боль. И действительно: встав и сделав несколько шагов, он сразу почувствовал себя лучше. Но в темной комнате было тесно, и, кроме того, он боялся разбудить спящую жену и причинить ей излишнее волнение. Он накинул халат, надел мягкие туфли на босу ногу и осторожно пробрался в коридор, чтобы модноном успокоить боль. В ту минуту, когда он открывал дверь в темный коридор, сквозь широко раскрытые окна донесся бой церковных часов: четыре тяжеловесных удара мягко рассеялись над озером дрожащим, затухающим гулом: четыре часа утра.

Длинный коридор был погружен во мрак. Но отчетливые воспоминания дня говорили старику, что он глубок и тянется по прямой линии. И он шагал из конца в конец, не нуждаясь в свете, глубоко дыша и с удовлетворением наблюдая, как его грудь постепенно освобождается от тисков. Боль уже почти прошла, и он собирался вернуться в комнату, как вдруг его испугал какой-то шум. Он остановился. Близкий шелест послышался во мраке, тихий, но несомненный. Что-то затрещало, кто-то перешептывался, кто-то двигался, и узкая полоса света из слегка приоткрытой двери на мгновение прорезала непроницаемый мрак. Что это? Невольно старик прижался в угол, — конечно, не из любопытства, а исключительно уступая

легко понятному чувству стыдливости — из опасения быть замеченным среди ночи в такой странной обстановке. Но в то мгновение, когда блеснул свет, он, почти против своей воли, увидел — или ему показалось, что он увидел, — как из комнаты скользнула женская фигура в белой одежде и исчезла в противоположном конце коридора. И действительно — теперь в одной из последних дверей щелкнула ручка. И опять все замерло во мраке. Старик зашатался, как будто его ударили прямо в сердце. Там, в самом конце коридора, где предательски щелкнула ручка, там были... там были ведь только его собственные комнаты, три комнаты, которые он снял для своей семьи. Его жена — он оставил ее всего несколько минут тому назад — спокойно спала; значит, эта женская фигура — нет, ошибиться было невозможно — была его девятнадцатилетняя дочь Эрна, возвращавшаяся из чужой комнаты после ночного похождения.

Старик вздрогнул всем телом, — он похолодел от ужаса. Его дочь Эрна, это дитя, это веселое, шаловливое дитя, — нет, этого быть не могло, он наверное ошибся!

«Что ей было делать в чужой комнате, если не...»

Как хищного зверя, оттолкнул он эту мысль, но призрак скрывшейся женской фигуры властно впился когтями в его мозг, — не вырвать его оттуда, не отделаться от него: он должен приобрести уверенность. Задыхаясь, он пробрался по стене коридора к двери ее комнаты, смежной с его комнатой. И — какой ужас! — как-раз здесь, как-раз только у этой единственной двери дрожала сквозь щелку тонкая нить света, и сквозь замочную скважину предательски глядела белая точка: в четыре часа утра в ее комнате горел свет. И вот — еще одно доказательство: внутри щелкнул выключатель, белая нить света бесследно исчезла во мраке, — нет, нет, нечего себя обманывать: это

была Эрна, его дочь, которая из чужой постели возвращалась в свою.

Старик содрогался от ужаса и холода, пот выступил и залил поры его тела. Разбить дверь, наброситься на нее с кулаками, на эту бесстыдницу, — было его первым побуждением. Но ноги подкашивались под отяжелевшим телом. У него еле хватило сил добраться до своей комнаты; как затравленный зверь, с затемненным сознанием, он упал на постель.

* * *

Старик лежал неподвижно в своей постели, его взор был устремлен в темноту. Рядом слышалось беззаботное дыхание его жены. Первой его мыслью было растолкать ее, рассказать ей об этом ужасном открытии, выплакать, выкричать свое сердце. Но как вымолвить, как выразить словами этот ужас? Никогда, никогда не сорвутся они с его уст. Но что делать? Что делать?

Он попробовал собраться с мыслями. Но они, как летучие мыши, слепо металась в мозгу. Ведь это было так ужасно: Эрна, это нежное, взлеянное дитя с ласковыми глазами... Он видел ее перед собой, склонившуюся над букварем, маленьким розовым пальчиком водящую по буквам; он вспоминал, как водил ее в голубом платъиде из школы прямо к продавцу сладостей, — он еще чувствовал поцелуй сладких от сахара детских губ... Разве не вчера это было?... Нет, годы прошли с тех пор... но ведь только вчера — и это было, действительно, только вчера — она так по-детски упрашивала его купить ей голубой с золотом сватер, так ярко пестревший в витрине. «Папочка, пожалуйста, пожалуйста», повторяла она, умильно сложив руки и смеясь тем радостным, самоуверенным смехом, против которого он был бессильен... А теперь, на расстоянии

десяти вершков от его двери, она пробиралась к постели чужого человека, валялась в ней, обнаженная, алчущая...

«Боже мой, боже мой...—невольню застонал старик.— Какой позор, какой позор!.. Мое дитя, мое нежное, любимое дитя с каким-то мужчиной... С кем? Кто бы он мог быть? Всего только три дня, как мы приехали в Гардон, и раньше она не знала никого из этих вылощенных фатов—ни этого узколобого графа Убальди, ни итальянского офицера, ни этого мекленбургского барона... только на второй день после приезда они познакомились во время танцев, и уже один из них... Нет, он не мог быть первым, нет... это наверное началось еще раньше... еще дома... и я ничего не знал, ничего не подозревал, дурак набитый... Но что я вообще знаю о них?.. Целый день я работаю на них, сижу по четырнадцать часов в конторе, точно так же, как прежде в железнодорожных вагонах с чемоданом, набитым образцами...зарабатываю для них деньги... деньги, чтобы они могли покупать себе красивые платья, чтобы они были богаты... А вечером, когда я возвращаюсь, усталый, разбитый, их нет дома: они в театре, на балу, в гостях... Откуда мне знать, как они проводят целые дни? А теперь я знаю только одно: что мое дитя по ночам отдает мужчинам свое юное чистое тело, как уличная девка... О! какой позор!»

Старик продолжал стонать. Каждая новая мысль рс-травляла его рану; ему казалось, будто его окровавлен-ный мозг лежит перед ним и в нем копошатся красные червяки.

«Но почему же я все это допускал?.. Почему я лежу теперь и терзаюсь, в то время как эта распутница спо-койно спит? Почему я сразу не ворвался к ней в комнату и не сказал, что знаю об ее позоре? Почему я не пере-ломал ей все кости? Потому, что я слаб... Потому, что

трус... Я всегда был слаб по отношению к ним... во всем и им уступал... я гордился тем, что доставляю им все радости жизни, в то время как моя жизнь отравлена... ногтями я выцарапывал для них пфенниг за пфеннигом... и готов был содрать кожу со своих рук, лишь бы они были довольны... Но едва я успел создать им состояние, как они начали уже пренебрегать мною... я был недостаточно элегантен для них... недостаточно образован... Где же мне было думать об образовании? Двенадцати лет меня взяли из школы, и я должен был зарабатывать, зарабатывать, зарабатывать... скитаться с образцами из деревни в деревню, потом, представителем, из города в город, прежде чем смог открыть свое собственное дело... и едва они очутились в собственном доме, как мое старое, честное, доброе имя стало им не к лицу... Я должен был приобрести титул коммерции советника, тайного советника... для того, чтобы ее больше не называли просто фрау Соломонсон, чтобы они могли казаться аристократками... Аристократки... Они высмеивали меня, когда я восставал против их претензий, против их «избранного общества», когда я рассказывал им, как моя покойная мать — да будет земля ей пухом — вела свой дом: тихо, скромно, жила только для отца и для нас... Они называли меня отсталым... «Ты старомоден, папочка», издевалась она... да, старомоден, да... а теперь она валяется в чужой постели с чужими мужчинами... мое дитя, мое единственное дитя... Ох, какой позор, какой позор!»

Он стонал так горестно, так мучительно, что его жена, спавшая рядом с ним, проснулась.

— Что с тобой? — спросила она сонным голосом.

Старик не шевельнулся и затаил дыхание. Так он лежал неподвижно до утра в черном гробу своей тоски, снедаемый мыслями, словно червями.

К утреннему завтраку он явился первым. Вдыхая, он уселся за стол, но всякая еда претила ему.

«Снова один, — подумал он, — всегда один!.. Когда я утром отправляюсь в контору, они безмятежно спят ленивым сном, отдыхают от театров и балов, а когда я возвращаюсь домой, они уже веселятся где-нибудь «в обществе», там я им ненужен... Ох, эти деньги, эти проклятые деньги!.. они их испортили... они сделали нас чужими друг другу... А я, дурак, сгрэбал их и что же?.. самого себя я ограбил, а их сделал черствыми... Пятьдесят лет я бессмысленно терзал себя, не позволяя себе отдыха ни на один день... а теперь я одинок...»

Он уже начинал терять терпение. «Почему она не идет?.. Я должен поговорить с ней... мы должны уехать отсюда... немедленно... Почему она не идет?.. верно, она еще не отдохнула, спит себе со спокойной совестью, в то время как у меня сердце разрывается... А мать... часами наряжается, принимает ванну, наводит лоск, тут маникюр, там парикмахер... раньше одиннадцати она не выберется... Что же удивительного?.. что может выйти из бедной девочки? Ох, эти деньги, эти проклятые деньги!»

За его спиной слышались легкие шаги.

— Доброе утро, папочка, хорошо ли ты спал?

Кто-то нежно наклонился сбоку и легким поцелуем коснулся его горячего виска. Невольно он отдернул голову: ему был противен сладкавый запах духов Коти... И потом...

— Что с тобой, папочка?.. опять не в духе?.. Человек, подайте кофе и ham and eggs...¹ Ты плохо спал или получил дурные вести?

¹ Ветчину и яйца. — *Прим. перев.*

Старик сделал над собой усилие. Он опустил голову, не решаясь поднять глаза, и молчал. Он видел только ее руки на столе, эти милые руки, холеные, лениво играющие на белом поле скатерти, будто избалованные тонкие борзые собаки.

Он вздрогнул. Робко коснулся его взор ее нежных девичьих рук, этих детских рук, которые... давно ли это было?.. так часто обвивали его шею... Он видел округлость ее девичьей груди, колыхавшейся под новым свитером.

«Нагая... валялась в постели с чужим мужчиной, — злобно думал он. — И все это он ласкал, все вкушал, всем наслаждался... и это моя плоть и кровь... мое дитя... о, негодяй!..»

Он опять застонал, сам того не замечая.

— Что с тобой, папочка?—спросила она, ласково наклонившись к нему.

«Что со мной?—закипали в нем гневные слова. — У меня дочь проститутка, и у меня не хватает мужества сказать ей это.»

Но он только невнятно пробормотал:—Ничего! ничего!—поспешно схватил газету, чтобы создать себе ограду из развернутого листа; выдержать ее вопрошающий взор он был не в состоянии. Руки его дрожали. «Теперь я бы должен был сказать ей,—теперь, пока мы одни», мучился он. Но язык не поворачивался; даже взглянуть на нее у него не хватало сил.

И он резко отодвинул стул, встал и тяжелыми шагами направился в сад; он почувствовал, что крупная слеза против его воли покатилась по его щеке. Этого она не должна была видеть.

* *
*

Старик долго шагал своими короткими ногами по саду и пристально смотрел на озеро. Его взор, затуманенный

едва сдерживаемыми слезами, все же не мог не ощутить красоты ландшафта: за серебристой дымкой мягкой зеленой волной подымались холмы, будто заштрихованные тонкими черными линиями кипарисов, а за ними круто высились горы, снисходительно любуясь прелестью озера, как взрослые люди, наблюдающие игры любимых детей. Так кротко расстиралась природа, открытым, гостеприимным жестом располагая к доброте и к счастью, таким блаженством сияла безвременная улыбка божественного юга!

«К счастью! — Старик смущенно покачал отяжелевшей головой. — Да, здесь можно быть счастливым. Один только раз я позволил себе эту роскошь, один только раз захотел испытать, как прекрасна жизнь для тех, кто не знает забот... в первый раз после пятидесяти лет непрерывной работы, записей, вычислений, мелочного торгашества захотел насладиться несколькими светлыми днями... один единственный раз — перед тем как меня закопают... бог мой... ведь смерть уже владеет моим телом, и тут уже не помогут ни деньги, ни врачи... И захотелось мне перед этим вздохнуть свободно, хоть раз в жизни подумать о себе... Но недаром, видно, покойный отец мой говорил: «Удовольствия не про нас, неси свой груз до самой могилы...» Только вчера еще я думал, что могу позволить себе эту роскошь. Вчера мне казалось, что вот и я могу испытать состояние счастливого человека... я любовался своей славной, веселой девчуркой, радовался ее радостям... и уже бог покарал меня, уже он отнял ее у меня... теперь она потеряна для меня навеки... я больше не смогу говорить со своей собственной дочерью... не смогу взглянуть ей в глаза, — так мне стыдно за нее... Всегда и везде будет меня преследовать эта мысль — и дома, и в конторе, и ночью в постели: где она сейчас, где она была, что она

делала? Никогда уже я не приду домой спокойно... и вот она бежит мне навстречу, и сердце радуется, когда я вижу ее такой юной, такой прекрасной... И когда она поделует меня, я буду спрашивать себя, кому принадлежали эти губы вчера... буду в вечной тревоге, когда ее нет, и буду стыдиться взглянуть ей в глаза, когда она со мной... Нет, так жить нельзя... так жить нельзя...»

Старик ходил взад и вперед, бормоча и шатаясь, как пьяный. Взор его снова и снова возвращался к озеру, слезы непрерывно текли в бороду. Он должен был снять пенсне, и, стоя на узкой тропинке, с влажными близорукими глазами, он имел такой нелепый вид, что проходивший мимо мальчишка-садовник в изумлении остановился, громко прыснул и наградил смущенного старика ироническим возгласом. Это вывело его из скорбного оцепенения, он надел пенсне и направился в глубь сада, чтобы где-нибудь на уединенной скамье укрыться от человеческих взоров.

Но не успел он выбрать подходящее место, как его испугал донесшийся откуда-то слева смех... знакомый смех, который теперь разрывал ему сердце. Музыкой звучал он ему в течение девятнадцати лет, этот легкий, шаловливый смех... ради него он провел столько ночей в вагонах третьего класса—вплоть до Познани и Венгрии—только для того, чтобы привезти ей горсточку желтой почвы, на которой произрастала эта беззаботная веселость... только ради этого смеха он жил, ради него нажил неизлечимую болезнь... лишь бы он постоянно звенел из любимых уст. А теперь он вонзился в его тело, как расклеванная пила, этот проклятый смех. И все же он невольно привлекал его. Стоя на теннисной площадке, она вертела ракету в обнаженной руке, свободным движением подбрасывала и ловила ее. И вместе с поднятой в воздух ракетой возносился

к лазурному небу ее надменный смех. Трое мужчин восторженно смотрели на нее—граф Убальди, в свободной теннисной рубашке, офицер, в плотно облегающей его форменной тужурке, и мекленбургский барон, в безукоризненных рейтузах,—три резко очерченных мужских фигуры, будто статуи вокруг порхающего мотылька. Старик сам не мог оторваться от этого зрелища. Боже, как она была хороша в своем светлом коротком платье, как сияло солнце в ее золотистых волосах! И с каким блаженством испытывало в игре и беге свою легкость это юное тело, опыненное и пьянящее послушным ритмом своих движений! Вот она победоносно подбрасывает в воздух белый мяч, следом за ним второй и третий. С какой легкостью носился, изгибаясь в беге, ее стройный девичий стан! Вот он выпрямился, чтобы поймать последний мяч. Такой он никогда ее не видал: вспыхивая задорными огнями, она вся была будто парящее в воздухе белое пламя, окутанное серебристым облаком смеха,—девственная богиня, возникшая из плюща южного сада, из мягкой лазури зеркального озера. Ни разу не видал он это узкое, стройное тело в таком ритмическом кружении, в такой бешеной пляске, в таком возбуждении игры. Никогда, нет, никогда, не бывала она такой в душном каменном городе; никогда ни дома, ни на улице не звучал ее голос так свободно, будто отрешенный от косности человеческой гортани,—так поет жаворонок свою веселую песню... нет, нет, никогда не бывала она так хороша! Старик не сводил с нее пристального взгляда. Он забыл все кругом и только глядел на это белое, парящее в воздухе пламя. Он бы мог бесконечно стоять так, страстным взором поглощая ее облик,—но вот, вспорхнув легким прыжком, она поймала последний из подброшенных в воздух мячей и, разгоряченная, тяжело дыша и гордо улыбаясь, прижала его к груди.

— Браво, браво! — захлопали возбужденно следившие за ее игрой мужчины, будто прослушав оперную арию. Эти гортанные голоса вывели старика из оцепенения. С озлоблением он посмотрел на них.

«Вот они, негодяи! — стучало ему сердце, — Вот они... Но кто же из них? Кто из этих трех франтов обладал ею?... Как они разодеты, надушены, выбриты, эти бездельники... Мы в их возрасте сидели с заплатами на штанах в конторе, обивали каблуки о пороги клиентов... их отцы, может быть, еще и сейчас мучаются, кровью и потом добывая для них деньги... а они бездельничают, шляются по белу свету со своими загорелыми беззаботными лицами и наглыми глазами... Отчего бы им не веселиться!.. Стоит такому молодцу бросить несколько сладких слов — и самолюбивая девчонка у него в постели... Но кто же из них, кто? Ведь вот и сейчас один из них мысленно раздевает ее и целует языком: «Я ею обладал». Он знает ее наугад, разгоряченную и думает: «Сегодня ночью опять...», и делает ей знаки глазами... О, собака!.. Убить мало этого пса!».

На площадке его заметили. Дочка улыбается, машет ракетой, мужчины раскланиваются. Он не отвечает, он только пристально смотрит влажными, налитыми кровью глазами на ее надменную улыбку: «И ты еще смеешь улыбаться, бесстыдница!.. Но он, может быть, тоже посмеивается и думает про себя: «Вот он стоит, старый, глупый еврей... Всю ночь напролет он храпит в своей постели... Если бы он только знал, этот старый дурак!»... Да, да, я знаю, вы смеетесь, вы брезгливо обходите меня, как грязный плевок... но дочка — бойкая девчонка и готова к услугам... а мать, правда, немного толста и подкрашена, но, если ее уговорить, может быть, и она не откажется... Вы правы, собаки, вы правы: ведь эти потаскухи сами бегают за вами... Какое вам дело до того, что

у другого сердце обливается кровью... если можно доставить удовольствие себе и этим потерявшим честь женщинам!.. Застрелить вас мало, избить плетью!.. Но вы правы, раз никто этого не делает... вы правы, если трусы проглатывают свой гнев, как собака свою блевотину... если мы не хватаем бесстыдницу за рукав, не вырываем ее из ваших лап... Стоишь вот так и давишься своей желчью... трус!.. трус!.. трус!..»

Старик схватился за ограду, он дрожал от бессильной злобы. И вдруг он плюнул и, шатаясь, вышел из сада.

* *
*

Старик бродил по улицам маленького города. Вдруг он остановился перед одной из витрин. Всевозможные вещи — все, что только может понадобиться туристу — были разложены на выставке; сорочки, сетки, блузы, удочки, галстуки, книги, печенье, все выстраивалось в искусные пирамиды и пестрые башни. Но его взор был устремлен на одну только вещь, брошенную между элегантными безделушками, — на палку с толстой головкой и железным концом, повидимому, увесистую и пригодную, чтобы прошибить любую голову.

«Убить... убить собаку!» Эта мысль овладела им, как сладострастный дурман. Его потянуло в лавку, где за ничтожную цену он приобрел эту сучковатую дубину. И, сжимая кулаком смертоносное орудие, он почувствовал себя сильнее: ведь оружие всегда придает слабому известную уверенность. Он ощущал, как напрягаются его мускулы.

«Убить... убить собаку!», бормотал он про себя, и невольно его тяжелый, спотыкающийся шаг становился тверже, ровнее, быстрее; он шел, нет, — он бежал по набережной взад и вперед, вспотевший — больше от прорвав-

шейся, наконец, страсти, чем от ускоренной ходьбы. И судорожно обхватывала рука толстую головку палки.

Вооруженный, он вошел в голубоватую тень прохладной террасы, раздраженным взглядом отыскивая невидимого противника. И действительно, они сидели все вместе на легких соломенных креслах, потягивая через тонкие соломинки виски и содовую воду, и весело болтали в приятном бездельи: его жена, его дочь и неизбежная тройда.

«Который же из них? — тупо думал он, крепко сжимая в кулаке свою палку. — Кому из них прошибить голову... кому?... кому?..»

Но вот вскочила Эрна, неверно поняв его ищущий взор, и побежала ему навстречу.

— Вот и ты, папочка! Мы искали тебя всюду. Представь себе, господин фон Медвиц берет нас с собой в автомобиль, мы прокатимся до Дезенцано вокруг всего озера.

Она подталкивала его ближе к столу, как будто побуждая его поблагодарить за приглашение.

Мужчины вежливо поднялись со своих мест, чтобы поздороваться с ним. Старик задрожал. Но его рука ощутила мягкую, пьянящую тяжесть; близость дочери укрощала его гнев. Безвольно он пожал одну за другой протянутые ему руки, молча сел, достал сигару и стиснул зубами мягкую табачную массу. Вокруг него порхала легкая беседа на французском языке, сопровождаемая многоголосым веселым смехом.

Старик сидел, угнетенный, и молча грыз свою сигару; коричневая влага окрасила его зубы.

«Они правы... тысячу раз правы... — думал он. — Он должен плюнуть мне в лицо... а я жму ему руку... всем троим... а я ведь знаю, что один из них и есть тот негодяй... и я спокойно сижу с ним за одним столом...»

Я его не убил, даже не ударил... нет, я вежливо подал ему руку... Они правы, совершенно правы, когда смеются надо мной... И как они разговаривают в моем присутствии, будто я вообще не существую!.. будто я уже лежу в могиле!.. И ведь обе они — и Эрна, и ее мать — прекрасно знают, что я не понимаю ни слова по-французски... обе это знают... обе, и ни одна из них не обратится ко мне, хотя бы только для виду, чтобы мне не казаться таким смешным, таким ужасно смешным... они меня не замечают... совершенно не замечают... я для них неприятный придаток, что-то лишнее, какая-то помеха... они стыдятся меня и терпят только потому, что я являюсь для них источником средств... О, эти деньги, эти грязные, отвратительные деньги, которыми я их испортил... эти деньги, над которыми тяготеет проклятие божье!.. Ни одного слова они со мной не говорят, все их взоры обращены на этих зевак, на этих гладко вылощенных фатов... Как похотливо они улыбаются им, как будто они касаются рукой их тела!.. И я... все это я терплю... сижу, слушаю, как они смеются, ничего не понимаю — и все-таки сижу, вместо того, чтобы стукнуть кулаком... поколотить их этой палкой, разогнать их, раньше чем они начнут спариваться на моих глазах... все это я позволяю, сижу безропотно, глупо... трус... трус... трус!..»

— Разрешите, — сказал на ломаном немецком языке итальянский офицер и потянулся за спичками.

Старик, оторванный от своих злобных размышлений, вздрогнул и бросил яростный взгляд на ничего не подозревавшего офицера. Гнев пожирал его. Судорожно сжал он в кулаке палку. Но затем губы его скривились и расплылись в бессмысленном смехе.

— О, я разрешаю, — повторял он резким, срывающимся голосом. — Конечно, я разрешаю, хе-хе... все разрешаю...

все, что только хотите... хе-хе... все... все, что у меня есть, к вашим услугам... со мной можно себе все позволить...

Офицер удивленно посмотрел на него. Плохо зная язык, он не совсем понял. Но эта кривая, бессмысленная улыбка беспокоила его. Немец невольно вскочил, обе женщины побледнели, как полотно, — все затихло, будто в короткий промежуток между молнией и раскатом грома. Но быстро исчезло с его лица выражение гнева, палка выскользнула из судорожно сжатого кулака. Старик съежился, как побитая собака, и смущенно кашлянул, испуганный собственной смелостью.

Эрна поспешно возобновила прерванную беседу, чтобы разрядить тягостную атмосферу; немецкий барон отвечал с нарочитой веселостью, и спустя несколько минут вновь беззаботно журчал на мгновение остановившийся поток слов. Старик сидел среди этого веселого общества, глубоко погруженный в свои мысли, — можно было подумать, что он спит. Увесистая палка, выскользнувшая из его рук, бесцельно болталась между ног. Все ниже опускалась его склоненная на руку голова. Но теперь уже никто не обращал на него внимания: над его молчанием звонко катилась волна беседы, время от времени подымая сверкающую пену смеха, а он безмолвно покоился на дне, в бесконечном мраке, залитый горем и стыдом.

* * *

Мужчины встали; Эрна поспешно последовала за ними; несколько медленнее поднялась мать. Они направлялись в залу и не сочли нужным обратиться с особым приглашением к погруженному в полусон старику. Смущенный внезапно образовавшейся вокруг него пустотой, он пробудился, как пробуждается спящий от чувства холода, когда ночью соскользнет одеяло и холодный воздух коснется

обнаженного тела. Невольно остановился его взор на опустевших креслах; но вот раздался в зале резкий звук фортепьяно, — застучал шумный джаз, сопровождаемый смехом и возбужденными возгласами. Да, танцовать, без усталости танцовать — это они умеют. Снова и снова волновать свою кровь, сладострастно тереться друг о друга, затем — дело в шляпе! Танцуют, бездельники, вечером, ночью и среди бела дня, — так они завлекают женщин.

Злобно он опять схватил свою палку и поплелся за ними. У дверей он остановился. Барон сидел у рояля в полоборота, чтобы видеть танцующих, брэнча наизусть и наугад американскую уличную песенку. Эрн танцевала с офицером, а длинноногий граф Убальди ритмически топтался на месте, не без труда поддерживая свою полную даму. Но старик устремил свой взор только на Эрну и ее партнера. Как легко и ласково этот борзой кобель положил свои лапы на ее нежные плечи, — как будто это существо принадлежало ему! Как многообещающе приближалось к нему ее тело! Будто срослись у него на глазах эти едва сдерживающие страсть, качающиеся тела. Да, это был он: каждое их движение выдавало пылавшую в них близость, уже совершившееся слияние. Да, это был он — он, и никто другой: он читал это в ее полузакрытых глазах, в которых сияло, вспыхивая в вихре танца, воспоминание о пережитом наслаждении. Да, вот он — вор, который ночью пламенно касался всего, что сейчас мерцает сквозь полупрозрачное развевающееся платье! Вот вор, похитивший у него дитя... его дитя. Он невольно приблизился, чтобы вырвать ее из его рук. Но она не заметила его. Каждым движением отдавалась она ритму, следуя еле заметному движению овладевшей ею руки; с запрокинутой назад головой, с влажным полуоткрытым ртом, олицетворенное самозабвение и опьянение, уносилась она легко

и плавно в мягком потоке музыки, не ощущая ни пространства, ни времени, ни людей, ни дрожащего, тяжело дышащего старика, в фанатическом экстазе гнева устремившего на нее воспаленный, налитый кровью взор. Она ощущала только себя, свое собственное юное тело, без сопротивления отдававшееся бешеному кружению мелодии. Она ощущала только себя и еще — близость направленного на нее мужского желания; ощущала, что сильная рука обвивает ее стан и что ей надо быть настороже, чтобы не слиться с ним во встречном желании, горящем на ее устах, чтобы не отдаться этому непобедимому увлечению.

И все это магически познал старик в волнении собственной крови. Всякий раз как она удалялась от него в танце, ему казалось, что она падает в бездонную пропасть. Как лопнувшая струна, внезапно оборвалась музыка посреди такта. Барон поднялся:

— *Assez joué pour vous*, — рассмеялся он. — *Maintenant je veux danser moi-même.*¹

С ним весело согласились; кружащиеся пары рассеялись, образовав более обширную порхающую группу.

Старик пришел в себя: надо что-то сказать, что-то предпринять. Только не стоять таким чурбаном, таким невыносимо лишним. Его жена проплывала мимо него, запыхавшись от напряжения, разгоряченная испытанным удовольствием. Гнев внушил ему внезапное решение. Он преградил ей дорогу.

— Пойдем, — вымолвил он нетерпеливо, — мне надо поговорить с тобой.

Она удивленно взглянула на него: капли пота выступили на его бледном лбу, его глаза блуждали. Что ему нужно?

¹ Довольно я для вас играл, теперь хочу и я потанцевать. —

Прим. перев.

Зачем ему понадобилось побеспокоить ее именно в эту минуту? Уже готова была сорваться с ее уст отговорка, но в его поведении было что-то тревожное, зловещее, и она, вспомнив недавнюю вспышку гнева, неохотно пошла за ним.

— Excusez, messieurs, un instant! ¹ — обратилась она с извинением к мужчинам.

«У них она просит прощения, — подумал со злобой взволнованный старик, — передо мной они не извинились, встав из-за стола. Я для них собака, половая тряпка, на которую можно наступить. Но они правы, правы, раз я это терплю!»

Она ждала, строго подняв брови; как ученик перед учителем, стоял он перед ней, с дрожащими губами.

— В чем дело? — спросила она, побуждая его к объяснениям.

— Я не хочу... я не хочу... — забормотал он, — я не хочу чтобы вы... чтобы вы... встречались с этими людьми...

— С какими это людьми? — переспросила она, намеренно не понимая и окидывая его рассерженным взглядом, как будто он нанес ей личное оскорбление.

— С этими там, — злобно кивнул он головой по направлению к соседней комнате, — это мне не нравится... я этого не хочу...

— Почему это?

«Вечно этот инквизиторский тон, — думал он озлобленно, — как будто я ее слуга.» И в волнении он продолжал:

— У меня есть свои основания... совершенно определенные основания... Мне не нравится... Я не хочу, чтобы Эрна разговаривала с этими людьми... Я не обязан все объяснять.

¹ Простите, господа, одну минуту! — *Прим. перев.*

— В таком случае, я очень сожалею, — ответила она высокомерно. — Я нахожу, что они чрезвычайно воспитанные люди и представляют собой значительно лучшее общество, чем то, которое мы имеем дома.

— Лучшее общество!.. Эти бездельники... эти... эти...

Гнев душил его. И вдруг он топнул ногой.

— Я этого не хочу... я запрещаю... ты ионяла?

— Нет, — ответила она хладнокровно. — Я ничего не понимаю. Не понимаю, зачем надо испортить удовольствие девочке...

— Удовольствие!.. Удовольствие! — Он пошатнулся, как от удара, густая краска залила его лицо, холодный пот выступил на лбу, рука потянулась в пространство за палкой, чтобы опереться на нее или ударить жену. Но он ее забыл. Это вернуло ему равновесие. Он пересилил себя, — теплая волна подступила к сердцу. Он приблизился к жене, как будто хотел взять ее за руку. Его голос стал мягким, почти умоляющим:

— Послушай... ты меня не понимаешь... я ведь ничего не прошу для себя... я вас прошу только... это моя первая просьба за долгие годы: уедем отсюда... уедем... во Флоренцию, в Рим, куда хотите, мне все равно... решайте сами, куда... куда вам угодно... только уедем отсюда... я прошу тебя... уедем... уедем... сегодня же... я дольше не могу этого вынести... не могу.

— Сегодня? — Она нахмурила лоб. Ее мимика выражала изумление и иронию. — Уехать сегодня? Что за странная мысль?... и только потому, что эти люди тебе не симпатичны! В конце концов, ты можешь не встречаться с ними.

Он все еще продолжал стоять в той же умоляющей позе.

— Я говорю тебе, что я не вынесу этого... не вынесу... не могу. Не спрашивай меня... прошу тебя... но

поверь... я не вынесу этого... хоть раз в жизни сделайте что-нибудь для меня, один единственный раз!..

В соседней комнате опять забарабанили на рояле. Она взглянула на него, как будто тронутая его отчаянием; но он был смешон, этот маленький толстый человечек, с лицом багровым, будто перед апоплексическим ударом, с опухшими глазами, с дрожащими, протянутыми вперед руками в слишком коротких рукавах. Мучительно было видеть его таким жалким. Но пробудившееся теплое чувство застыло на ее устах.

— Это невозможно, — решила она, — сегодня мы обещали поехать с ними кататься... и уехать завтра, сняв комнаты на три недели... над нами будут смеяться... Я не вижу ни малейшего повода для отъезда... Я остаюсь, и Эрн тоже...

— А я могу уехать, не правда ли?... я здесь только мешаю... мешаю вам... веселиться?

Этим глухим выкриком он прервал ее возражение. Его сгорбленное, грузное тело выпрямилось, руки сжались в кулаки, на лбу зловедше налилась жила. Казалось, сейчас что-то вырвется у него — не то слово, не то удар. Но вдруг он повернулся, быстрыми, неуклюжими шагами засеменял по направлению к лестнице и так же поспешно, все ускоряя шаг, как будто спасаясь от погони, поднялся по ступенькам.

* * *

Старик задыхался, подымаясь: только бы добраться до своей комнаты, быть одному, успокоить свои нервы, перестать безумствовать! Вот он достиг уже верхнего этажа, и вдруг — будто острые когти впились в его внутренности; он побледнел, как полотно, пошатнулся и прислонился к стене.

О, эта бешеная, жгучая, неутешимая боль! Он стиснул зубы, чтобы не закричать. В муках корчилось застигнутое врасплох тело.

Он сразу понял, что произошло: это был припадок желчи, один из тех ужасных припадков, которые нередко мучили его в последнее время; но никогда он не испытывал таких дьявольских страданий, как в этот раз. «Избегать волнений», вспомнил он в ту же минуту предписание врача. И, корчась от боли, он злобно посмеивался над собой:

«Легко сказать: избегать волнений... пусть господин профессор сам покажет, как это не волноваться, когда... ох... ох...».

Старик завыл, — так жгуче вонзились невидимые когти в истерзанное тело. С трудом он дотащился до двери своей комнаты, открыл ее и упал на оттоманку, впившись зубами в подушку. Боль несколько успокоилась, как только он лег; раскаленное острие уже не так глубоко проникало в израненные внутренности.

«Надо бы компресс положить, — вспомнил он, — принять капли — сразу станет легче.» Но никого не было, кто бы ему помог, никого. А у самого не хватало сил добраться до другой комнаты или хотя бы только до звонка. «Никого нет, — подумал он озлобленно, — вот так и подохну когда-нибудь, как собака... Я ведь знаю, это не желчь причиняет мне такую боль... это смерть уже внедрилась в меня... я знаю, я уже пропащий человек, никакие профессора, никакие лекарства мне не помогут... в шестьдесят пять лет не выздоравливают... я знаю, что смерть впилась в мое тело, и эти два-три года, которые мне осталось прожить, это уже не жизнь, а умирание, одно умирание... Но когда... когда же я жил?... когда я жил для самого себя?... Разве это была жизнь? Вечная

погоня за деньгами, и только за деньгами... только для других... и теперь, что я имею за это? У меня была жена: я взял ее девушкой, оплодотворил ее тело, она мне принесла ребенка; из года в год мы спали в одной постели, дышали одним дыханием... а теперь, что стало с ней? Я не узнаю ее лица; чужд мне ее голос... как чужая, она говорит со мною, ей нет дела до моей жизни, до моих переживаний, моих дум, страданий... чужая она мне уже годы и годы... куда исчезло то время, куда оно ушло? И был у нас ребенок... вырос... я думал, тут начнется новая жизнь, дни потекут, светлые, счастливые, и не будет смерти: в ней я буду жить... и вот, дочь покидает меня и по ночам отдается мужчинам... Только умирать я буду для себя самого... только для себя... для других я уже умер... Боже, боже, никогда еще я не был так одинок!»

Острые когти время от времени еще впились в его тело. Но другая боль все крепче сдавливала виски; мысли, эти твердые, немилосердно острые, раскаленные камешки, обжигали лоб. Только бы забыться теперь, ни о чем не думать! Старик расстегнул жилет; неуклюже, бесформенно выпячивался и дрожал живот под вздувшейся сорочкой. Осторожно он надавил рукой на больное место. «Вот это я, — подумал он, — я — эта боль, этот кусок горячей кожи... и только это еще принадлежит мне; это моя болезнь, моя смерть... Вот, чем я стал... я уже не коммерции советник, у меня нет ни жены, ни дочери, ни денег, ни дома, ни дела... мне осталось только то, что я сейчас ощущаю пальцами, — мое тело и эта жгучая боль... все остальное — вздор, не имеет больше никакого значения... а эта боль — только моя боль, и эта забота — только моя забота... Они уже не понимают меня, и я не понимаю их... Никогда я так не ощущал своего одиночества. Но теперь, когда смерть уже гнездится в моем теле, теперь я чув-

ствую... слишком поздно, на шестьдесят пятом году, когда я тут подыхаю, а они танцуют, гуляют, шлятся, эти потерявшие честь женщины... теперь я сознаю, что всю свою жизнь я отдал им, неблагодарным, и ни одного часа не жил для себя... Но какое мне дело, какое мне дело до них?... зачем думать о тех, кто не думает обо мне? Лучше околеть, чем принять их сострадание... какое мне дело до них?..»

Постепенно, шаг за шагом, оставляла его боль: уже не так цепко, не так жгуче сжимала его эта злобная рука в своих тисках. Но оставалось в нем что-то тупое, — уже не боль; что-то чуждое нарастало и наступало, вонзая в него свой шип. Старик лежал с закрытыми глазами и напряженно прислушивался к тому, что тихо занывало и назревало в нем: ему казалось, что чуждая, неведомая сила сперва острым, а теперь тупым орудием что-то выгребала из него, нить за нитью обрывала что-то в его теле. Не было уже боли. Не было тисков. Но что-то гниющее тихо набухало внутри, что-то отмирало в нем. Все, чем он жил, все, что он любил, пожиралось этим медленным огнем, обугливалось, тлело и угасало, погружаясь в вязкую тину равнодушия. Что-то свершалось, смутно он ощущал: что-то свершалось, в то время как он лежал и взволнованно думал о своей жизни. Что-то кончалось. Что это было? Он сосредоточенно прислушивался.

Так начинался закат его сердца.

* * *

Уже смеркалось. Старик лежал с закрытыми глазами, не то бодрствуя, не то в полусне. И в этом смутном состоянии, между бодрствованием и дремотой, ему казалось, будто откуда-то, из какой-то безболезненной раны, проса-

живается что-то влажное, горячее в его кровь, и у него было ощущение, будто он сам истекает кровью. Оно не причиняло боли, это невидимое струение, оно было совершенно спокойно. Тихо, как слезы, частые и теплые, падали эти капли, и каждая из них попадала прямо в сердце. Но сердце, погруженное во мрак, не издавало ни звука; покорно оно впитывало эту чуждую влагу, оно всасывало ее, как губка, тяжелело, напухало и набухало в тесной грудной клетке... Постепенно наполнившись и переполнившись этой тяжестью, оно раздвигает связки, обрывает напряженные мускулы. Все нестерпимое давило и теснило истерзанное сердце, выросшее до гигантских размеров. И вот (какое ужасное страдание!) эта тяжесть отделяется и начинает медленно опускаться. Плавно, бесшумно отделилась она от мускулов — совсем спокойно, — не камень, не падающий плод; нет, скорее губка, впитавшая влагу, — так опускалась она, глубже, все глубже уходя в пустоту, в небытие, куда-то за пределы его существа, в черную безбрежную ночь. И вдруг воцарилась зловещая тишина, — воцарилась там, где только что набухало теплое сердце: там зияла пустота, там царил ужас и холод. Оно уже не билось, не сочилось: все утихло, угасло. И будто черный гроб, мрачно высилась содрогающаяся грудь над этой непостижимой немотой.

Так ярко было это пережитое во сне чувство, так глубоко было смятение, что старик, пробудившись, невольно провел рукой по левой стороне груди, чтобы удостовериться, на месте ли у него сердце. Но — слава богу — что-то билось, глухо, ритмично под его пальцами, — и все же казалось, что эти глухие удары раздаются в пустом пространстве, а сердца нет. И странно: ему вдруг показалось, что его собственное тело отделилось от него. Не тревожила его боль, и воспоминания уже не дергали

истерзанных нервов; все безмолвствовало, все одеревенело, окаменело в нем. «Что же это, — подумал он, — ведь вот сейчас что-то невыносимо терзало меня, душа была полна тревоги, каждый нерв трепетал. Что же случилось со мною?» Он вслушивался в эту пустоту: не шевельнется ли там бывшее? Но не было уже журчания и струения, ничто не билось, не сочилось у него в груди. Он слушал, слушал: нет, угасли, замерли все звуки. Ничто уже не назревало, не занывало в нем, ничто не болело: было мрачно и пусто, как в дупле сгоревшего дерева. Ему вдруг почудилось, будто он уже умер или что-то умерло в нем, — так зловеще спокойно останавливалась кровь. Холодным, как труп, ощущал он свое собственное тело, и ему было страшно прикоснуться к нему теплой рукой.

* * *

Старик вслушивался в себя; он не слышал, как с озера проникали в комнату, окутанную сумерками, удары часов. Вокруг него выростала ночь, мрак постепенно вычеркивал предметы из уплывающего пространства; погасла, навонед, и полоса неба, еще светившаяся в прямоугольнике окна. Наступила полная темнота. Старик не замечал ее: он вглядывался только во мрак своей души, вслушивался только во внутреннюю пустоту, в собственное угасание.

Вдруг в смежную комнату ворвался задорный смех, засверкала свет, бросая луч сквозь щель слегка приоткрытой двери. Старик испугался: жена, дочь! Сейчас они заметят его на диване, начнут расспрашивать. Поспешно он застегнул жилет: зачем им знать об его припадке, какое им дело до него?

Но женщины не стали его искать. Они, очевидно, горопились: громоподобный гонг в третий раз повторял приглашение к обеду. Они, повидимому, переодевались:

через открытую дверь до него доносилось каждое движение. Вот они открыли чемоданы, вот положили звенящие кольца на умывальник; вот застучали брошенные на пол ботинки, и с этими звуками смешивались их голоса: каждое слово, каждый слог, с убийственной отчетливостью, доносился до слуха насторожившегося старика. Они говорили о своих кавалерах, посмеиваясь над ними, о маленьком происшествии во время прогулки, легко и беззаботно болтали обо всем, в то же время умываясь, причесываясь, прихорашиваясь. Вдруг разговор перешел на него.

— Где же папа? — спросила Эрна, как будто удивляясь, что так поздно вспомнила о нем.

— Откуда мне знать? — это был голос матери, раздраженный уже одним этим упоминанием. — Вероятно, он ждет внизу и в сотый раз перечитывает курс во «Франкфуртской Газете», он больше ничем не интересуется. Ты думаешь, он хоть раз взглянул на озеро? Он сказал мне сегодня, что ему здесь не нравится. Он хочет, чтобы мы сегодня же уехали.

— Сегодня?.. Но почему же? — прозвучал голос Эрны.

— Не знаю. Кто его разберет? Здесьнее общество его не устраивает, эти господа ему не к лицу, — вероятно, он сам чувствует, как мало он к ним подходит. Прямо позор, как он одевается: всегда в измятом костюме, с расстегнутым воротником... Ты бы сказала ему, чтобы он хоть вечером оделся приличнее, он тебя слушается. А сегодня утром... как он накинулся на *tenente*¹ по поводу спичек...

— В самом деле... что это было?.. Я уже раньше хотела тебя спросить... что это было с папой?.. Таким я его никогда не видала... Я не на шутку беспокоюсь.

¹ *Tenente* — поручик. *Прим. перев.*

— Пустяки; вероятно, он был в дурном настроении... наверное, курс упал... или оттого, что мы говорили по-французски... он не выносит, когда другие веселятся... Ты не заметила: когда мы танцевали, он стоял у двери, как убийца за деревом... Уехать! Сию минуту уехать! — и только потому, что ему так нравится!.. Если ему здесь не по себе, пусть он нам не мешает веселиться... Но я не обращаю внимания на его капризы, пусть говорит и делает, что ему угодно.

Разговор прервался. Повидимому, болтая, они закончили свой вечерний туалет; совершенно верно: дверь открылась, они выходили из комнаты; щелкнул выключатель, огонь погас.

Старик неподвижно сидел на оттоманке. Он слышал каждое слово. Но удивительно: ничто не причиняло ему боли, ни малейшей боли. Неугомонный часовой механизм, который еще недавно так невыносимо стучал в груди, теперь стоял неподвижно; должно быть, он сломался. Ничто не изменилось от этого резкого прикосновения. Не было ни гнева, ни ненависти... ничего... ничего... Спокойно он привел в порядок свой костюм, осторожно спустился с лестницы и сел за их стол, как будто чужой.

* * *

Он не разговаривал с ними в этот вечер, но они опять не обратили внимания на это стиснутое, словно кулак, молчание. Не прощаясь, он поднялся в свою комнату, лег и потушил свет. Гораздо позже пришла его жена, после приятно проведенного вечера; предполагая, что он заснул, она разделась в темноте. Скоро он услышал ее тяжелое, беззаботное дыхание.

Старик, предоставленный самому себе, устремил свой взор в зияющую пустоту ночи. Рядом с ним что-то лежало

и глубоко дышало в темноте. Ему пришлось употребить усилие, чтобы вспомнить, что это тело, которое дышит тем же воздухом, что и он, некогда молодое и страстное, дало ему ребенка и было связано с ним глубочайшим таинством крови; он заставлял себя припомнить, что это теплое и мягкое тело, лежащее рядом с ним, тело, которого он мог коснуться рукой, когда-то давало жизнь его жизни. Но странно: это воспоминание не возбуждало в нем никакого чувства, и он воспринимал это дыхание точно так же, как доносящийся в открытое окно плеск волн, омывающих береговой щебень. Все это в прошлом и теперь уже не имело для него значения; теперь это было только случайное и чуждое соседство: конечно, все конечно навеки.

Еще раз он содрогнулся: тихо, как бы крадучись, скрипнула дверь в комнате его дочери. «Итак, сегодня опять», еще почувствовал он легкий укол в, казалось, омертвевшем уже сердце. Еще на минуту защемило что-то, словно умирающий нерв. Но и это прошло. «Пусть делает что хочет! Что мне до нее!»

И старик откинул голову на подушку. Мягче касался мрак блестящих висков, благотворная прохлада проникала в кровь. И легкий сон затемнил усталые мысли.

* * *

Просыпаясь на следующее утро, жена увидела его в пальто и в шляпе.

— Куда ты? — спросила она сквозь сон.

Старик не обернулся; равнодушно он совал ночное белье в саквояж.

— Ты ведь знаешь, я возвращаюсь домой. Я беру с собой только самое необходимое, остальное вы можете мне прислать.

Жена испугалась. Что это? Таким она никогда не слышала его голос: холодные, жесткие срывались слова с его уст. Обейми ногами она вскочила с постели.

— Неужели ты собираешься уезжать?... Подожди... мы тоже поедem, я уже сказала Эрне...

Но он отрицательно покачал головой.

— Нет... нет... не беспокойтесь.

И, не оглядываясь, он направился к двери. Ему пришлось поставить чемодан на пол, чтобы нажать ручку двери. И в этот краткий миг он вспомнил: тысячу раз он ставил чемодан с образцами перед чужой дверью, прежде чем уйти, почтительно откланиваясь и предлагая свои услуги для дальнейших поручений. Но тут ему больше нечего делать, поэтому он не счел нужным поклониться. Не оглядываясь, безмолвно, он поднял саквояж и, звякнув ручкой, захлопнул дверь, навеки отделившую его от прошлого.

* *
*

Они не поняли, мать и дочь, что произошло. Но этот резкий и решительный отъезд обеспокоил их. Тотчас же они послали ему вслед, на родину, письма с подробными объяснениями по поводу происшедшего недоразумения, — почти нежные, заботливые письма; они спрашивали, как он путешествовал, как доехал, и даже изъявляли готовность немедленно прервать свое пребывание за границей. Он не ответил. Они писали вновь, телеграфировали: ответа не было. Только из конторы была получена сумма, упомянутая в одном из писем, — почтовый перевод со штемпелем фирмы, без письма, без привета.

Это необъяснимое, тягостное положение побудило их ускорить отъезд. Хотя они известили о дне своего возвращения, никто не встретил их на вокзале. Дома тоже ничего

не было приготовлено: прислуга уверяла, что старик рассеянно бросил телеграмму на стол и ушел, не оставив никаких распоряжений. Вечером они уже сидели за обеденным столом, когда закричала внизу входная дверь. Они поднялись ему навстречу. Он взглянул на них с изумлением,—повидимому, он действительно забыл о телеграмме,—но это было единственное чувство, отразившееся в его взоре.

Равнодушно он дал дочери обнять себя, прошел с ними в столовую и с тем же безразличием слушал их рассказы. Он не предлагал никаких вопросов, молча сосал свою сигару, односложно отвечал на одни вопросы и не слышал других. Казалось, он спал с открытыми глазами. Потом он грузно поднялся и ушел в свою комнату.

Так продолжалось и в последующие дни. Тщетно жена стремилась объяснить с ним: чем настойчивее добивалась она объяснения, тем решительнее он уклонялся от него. Что-то в нем замкнулось, стало недоступным, путь к примирению с ним был отрезан. Он еще садился с ними за стол, приходил, когда бывали гости, и некоторое время сидел молча, погруженный в свои мысли. Но ничто его не интересовало, и те из гостей, которые случайно во время разговора встречали его взор, неизменно испытывали тягостное чувство: это был мертвый, невидящий взор, пустой и безразличный.

Странности старика вскоре стали обращать на себя всеобщее внимание. Знакомые, встречая его на улице, незаметно перемигивались между собой. И вот, этот человек, один из самых богатых в городе, крался, как нищий, вдоль стены, в измятой шляпе набекрень, в сюртуке, обсыпанном пеплом, как-то странно шатаясь при каждом шаге и чаще всего что-то бормоча себе под нос. Если с ним раскланивались, он пугался; если с ним заговари-

вали, он устремлял на говорящего пустой взор и забывал подать ему руку. Сначала многие думали, что старик оглох, и громче повторяли свои слова. Но это была не глухота: ему нужно было время, чтобы разбудить себя от внутреннего сна, и среди разговора он вновь впадал в странное забвение. Глаза потухали, он поспешно обрывал разговор и спешил дальше, не замечая удивления собеседника. Всякий раз казалось, что его пробудили от смутного сна, оторвали от какого-то затуманенного самоуглубления: видно было, что люди для него уже не существовали. Никто его не интересовал, в собственном доме он не замечал глухого отчаяния жены, растерянного недоумения дочери. Он не читал газет, не прислушивался к разговору; ни единое слово, ни один вопрос не мог преодолеть его мрачного, непроницаемого равнодушия. Даже его дело, которое в течение многих лет заменяло ему целый мир, — и оно стало ему чуждо. Изредка он еще заглядывал в контору и усаживался в кабинете подписывать письма. Но, когда секретарь приходил за бумагами, он заставлял старика все в том же положении, — с пустым взором, погруженным в непрочитанные письма. Наконец, он сам заметил свою ненужность и перестал приходить.

Но вот что было самым странным и удивительным для всего города: старик, никогда не принадлежавший к числу верующих членов общины, стал религиозным. Равнодушный ко всему, никогда не отличавшийся пунктуальностью ни в домашних трапезах, ни в деловых свиданиях, он не забывал в надлежащий час прийти в синагогу. Там он стоял, в черной шелковой ермолке и в молитвенном облачении, всегда на одном и том же месте, — где некогда стоял его отец, — и, раскачиваясь, пел псалмы. Здесь, в полупустом помещении, где слова гудели так чуждо и глухо, он больше, чем где-либо, чувствовал себя наедине с самим собой; мир

покрывал смутнение и мрак, царившие в его груди. Но, когда читались зауспокойные молитвы и он видел родных, детей, друзей умершего, трогательно исполняющих обряд и с поклонами и заклинаниями призывающих милосердие божие к умершему, взор его омрачался: он был последним в роде. Некому будет помолиться за упокой его души. И он благоговейно бормотал с ними молитву и думал о себе, как об умершем.

Однажды, поздно вечером, он возвращался из своих скитаний. По дороге его настиг дождь. Старик по обыкновению забыл свой зонт, извозчики предлагали свои услуги за небольшую плату, ворота и стеклянные навесы гостеприимно приглашали его укрыться от внезапно разразившейся грозы, но чужак продолжал равнодушно покачиваться под ливнем. В помятой шляпе образовалась лужа, из рукавов текли целые ручьи. Он не обращал на это внимания и шагал дальше, почти единственный на опустевшей улице. Промокший до мозга костей, напоминая скорее бродягу, чем владельца богатой виллы, он подошел к своему дому. В ту же минуту у подъезда остановился автомобиль, обдав мокрой грязью неосторожного пешехода. Дверцы распахнулись, из ярко освещенного купе вышла его жена в сопровождении какого-то знатного гостя под зонтом и еще одного господина. У самых дверей они столкнулись. Жена узнала его и испугалась, увидев его в таком состоянии: промокший, измятый, он напоминал вытащенный из воды снап. Невольно она отвела глаза. Старик сразу понял: ей было стыдно за него перед гостями. И, без волнения, без злобы, он решил избавить ее от тягостной сцены представления: он сделал еще несколько шагов и смиренно вошел через черный ход.

С этого дня старик в собственном доме пользовался только черной лестницей: здесь он был уверен, что никого

не встретит. Здесь он никому не мешал, и ему здесь не мешали. Он перестал выходить к столу, — старая служанка приносила еду ему в комнату. Если жена или дочь пытались проникнуть к нему, он быстро выпроваживал их, смущенный, но с непоколебимой решимостью. В конце концов, они оставили его одного, отвыкли справляться о нем, и он тоже ни о чем не справлялся. Часто к нему доносились сквозь стены смех и музыка из других, теперь уже чуждых ему комнат; он слышал стук карет, уезжавших поздней ночью. Но так безразлично ему было все это, что он даже не выглядывал из окна: какое ему дело до них? Иногда только приходила собака и ложилась перед кроватью всеми покинутого хозяина.

* * *

Он уже не испытывал боли в омертвелом сердце, но черный крот продолжал свою работу и до крови разрывал издерганное тело. Припадки учащались с каждой неделей. Наконец, измученный старик уступил настоянию врача и подвергся тщательному осмотру. Лицо профессора омрачилось. Осторожно подготовляя больного, он высказался в том смысле, что операция неизбежна. Но старик не испугался, он только печально улыбнулся: слава богу, скоро конец! Настает конец умиранию, приближается благостная смерть. Он запретил врачу сообщать об этом семье, назначил день и приготовился. В последний раз он пошел к себе в контору (где никто его уже не ожидал и все смотрели на него, как на чужого); сел еще раз в черное кожаное кресло, в котором он, за тридцать лет, за всю свою жизнь, просидел тысячи и тысячи часов, потребовал чековую книжку и заполнил один из листов. Этот листок он отнес старшине общины, который почти испугался размера вклада. Эта сумма предназначалась для

благотворительных целей и для ухода за его могилой. Он уклонился от благодарственных излияний и быстро ушел, спотыкаясь и потеряв при этом шляпу; но он даже не потрудился нагнуться, чтобы поднять ее. И так, с непокрытой головой, с омраченным взором и с желтым, морщинистым лицом, побрел он (изумленно смотрели люди ему вслед) на кладбище, к могиле родителей. Там наблюдали за ним несколько бездельников и удивлялись, глядя на него: он говорил долго и громко с полусгнившими камнями, как разговаривают с людьми. Извещал ли он о своем предстоящем приходе, или просил благословения? Никто не слышал его слов, только губы шевелились неслышно, и все ниже опускалась в молитве его голова. У выхода обступили его нищие. Он поспешно вытаскивал из карманов монеты и бумажки; когда он все уже роздал, притадилась запоздавшая старушка, вся в морщинах, и умоляла о милостыне. Смущенно он обыскал карманы и больше ничего не нашел. Но что-то ненужное, тяжелое сдавило ему палец: обручальное кольцо. Луч воспоминания озарил его, — он поспешно снял кольцо с пальца и отдал его изумленной женщине.

И так, нищий, опустошенный и одинокий, старик лег на операционный стол.

* *
*

Когда старик пришел в себя после наркоза, врачи нашли его состояние угрожающим и призвали жену и дочь, уже осведомленных о событии. С трудом пробивался взор сквозь обрамленные синеватыми тенями веки. «Где я?», спрашивал этот взор, устремленный в белизну незнакомых стен.

Ласково наклонилась дочь над осунувшимся лицом. И вдруг сверкнули воспоминанием потухшие зрачки. Еле

заметный свет зажегся в них: вот оно, невыразимо любимое дитя, вот она, Эрна, нежное, прекрасное дитя! Тихо, совсем тихо шевельнулись озлобленные уста,—улыбка, еле заметная, давно забытая улыбка тронула сомкнутые углы рта. И, потрясенная этой горькой радостью, она наклонилась, чтобы поцеловать обескровленную щеку отца.

Но вдруг—был ли это сладкий запах духов, пробудивший в нем воспоминание, или воскресли в омраченной памяти забытые мгновения,—черты его, только-что сиявшие счастьем, резко изменились: бледные губы сразу злобно сомкнулись, рука под одеялом напряженно стремилась подняться, как бы для того, чтобы оттолкнуть что-то враждебное, все истерзанное тело дрожало от волнения.

— Прочь!.. Прочь!.. — нечленораздельно, но все же достаточно вятно лепетали помертвевшие губы. И такое непреодолимое отвращение выразилось в сведенных судорогой чертах умирающего, что врач озабоченно отстранил женщин.

— Он бредит,—шепнул он,—лучше оставить его одного.

Как только женщины ушли, искаженные черты разгладились и приняли пустое и утомленное выражение дремоты. Он тяжело дышал—все выше подымалась грудь в погоне за воздухом. Но скоро она пресытилась этой горькой пищей. И когда врач испытующе приложил ухо к сердцу старика, оно уже перестало причинять ему боль.

СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ
ИЗ ЗАПИСОК СТАРОГО ЧЕЛОВЕКА
ПЕРЕВОД П. С. ВЕРНШТЕЙН

У них были самые лучшие побуждения — у моих учеников и коллег по факультету: вот он лежит, в роскошном переплете, торжественно мне преподнесенный, первый экземпляр юбилейного сборника, который филологи посвятили мне в шестидесятую годовщину моего рождения и тридцатую моей академической деятельности. Получилась настоящая биография; ни одна самая мелкая статья, ни одна произнесенная мною речь, ни одна рецензия в каком-нибудь научном ежегоднике не ускользнули от их библиографического прилежания: все они выкопали из бумажной могилы, весь ход моего развития до последнего часа восстановлен, ступень за ступенью, и сверкает, подобно хорошо выметенной лестнице. Право же, было бы неблагодарностью с моей стороны не порадоваться этой трогательной фундаментальности. Все, что казалось мне давно изжитым и утраченным, снова встает передо мной в строгой последовательности. Нет, я не могу отрицать, что я, уже старик, смотрю на этот диплом, поднесенный мне моими учеными слушателями, с той же гордостью, с какой получал некогда из рук учителей первое свидетельство о своем прилежании, способностях, любви к науке.

И все же, когда я перелистал эти двести прилежно написанных страниц и внимательно взгляделся в отражение моего облика, — я невольно улыбнулся. Неужели это

была моя жизнь, неужели в самом деле с первого часа до нынешнего она тянулась ровными нитями какого-то целенаправленного серпантина, как представил ее биограф на основании бумажного материала? Я испытал такое же чувство, как недавно, когда впервые услышал свой голос в граммофоне: сначала я его совершенно не узнал. Да, это был мой голос, но такой, каким его знают другие, а не я сам, слыша его в своей крови, в самой глубине своего существа. Так, посвятив всю свою жизнь изображению людей и попыткам установить содержание их духовного мира на основании их творчества, я убедился на собственных переживаниях, каким непроницаемым в жизни каждого человека остается его настоящее ядро — творческая клетка, из которой все произрастает. Мы переживаем мириады секунд, но только одна из них, одна единственная, приводит в движение весь наш внутренний мир, — та секунда (Стендаль ее описал), когда уже насыщенный всеми соками цветов в мгновение ока кристаллизуется, магическая секунда, подобная мгновению зачатия и, подобно ему, скрытая в теплоте нашего тела, — невидимая, неосязаемая, неосязаемая, — совершенно своеобразно пережитая тайна. Ее не учтет никакая алгебра духа, не предскажет никакая алхимия предчувствия, и редко она открывается нашему чувству.

Об этом тайном источнике развития моей духовной жизни эта книга не говорит ни слова: вот почему я не мог не улыбнуться. Все в ней верно, но самого существенного нет. Она меня описывает, но она меня не выражает. Она только говорит обо мне, но она не выдает меня. Двести имен заключает в себе тщательно составленный указатель, — не хватает только одного — имени человека, от которого исходит творческий импульс, человека, который определил мою судьбу и теперь с новой

силой возвращает меня в годы юности. Здесь сказано обо всех, умолчали только о том, кто дал мне язык, о том, чьим дыханием жива моя речь. И вот, я ощущаю это молчание, как свою вину. Целую жизнь я посвятил изображению людей, вызывал образы из тьмы веков, воскрешая их для чувства моих современников, — и ни разу не вспомнил о живущем во мне. И теперь, будто в дни Гомера, я напою дорогую тень моей кровью, чтобы она снова заговорила со мной, чтобы она, стареющая, посетила меня, состарившегося. К лежащим передо мною листам я присоединю еще одну, скрытую страницу — исповедь чувства к ученой книге: я расскажу себе самому правду о моей юности.

* * *

Прежде чем начать, я еще раз перелистываю эту книгу, которая должна представить мою жизнь. И слова улыбка на моих устах. Как им добраться до истинной моей сущности, когда с самого начала они избрали неверный путь! Уже первый их шаг неверен! Вот один из моих благосклонных товарищей по школе, ныне, как и я, тайный советник, сочиняет, будто уже в гимназии я питал неудержимую склонность к гуманитарным наукам, отличавшую меня от других новичков. Плохо помните, господин тайный советник! Гуманитарные науки были для меня тяжелым ярмом, которое я едва выносил со скрежетом зубным. Видя у себя дома, в семье школьного ректора, в маленьком северо-германском городишке, как наука служила средством борьбы за существование, я с детства возненавидел всякую филологию: природа, верная своей неразгаданной задаче охранять творческую силу, всегда внушает ребенку ненависть к склонностям отца. Она противится спокойному, пассивному наследованию, простому

продолжению из рода в род: сперва она требует борьбы между одинаково созданными существами и только после тяжелых и плодотворных блужданий допускает запоздалое возвращение на стезю предков. Мой отец считал науку святыней, — и этого было достаточно для того, чтобы в своем самоутверждении я почувствовал ее, как пустую игру с понятиями. Я возненавидел классиков только за то, что он считал их образцом. Окруженный книгами, я их презираю; направляемый отцом исключительно на умственные занятия, я был преисполнен отвращения ко всякому книжному образованию: неудивительно, что я с трудом достиг аттестата зрелости и решительно отказывался от продолжения научных занятий. Я хотел стать офицером, моряком или инженером: ни к одной из этих профессий я, в сущности, не чувствовал призвания. Только ненависть к бумажной науке побуждала меня стремиться к практической деятельности и отвергнуть академическую учебу. Но отец, со всей энергией фанатического преклонения перед университетом, настаивал на академическом образовании. Единственное, чего мне удалось добиться, было разрешение вместо классической филологии избрать английскую (я согласился на этот компромисс с тайной мыслью, что знание этого языка впоследствии облегчит мне морскую карьеру, к которой я так неудержимо стремился).

Итак, в этом *curriculum vitae* нет ничего более неверного, чем любезное утверждение, будто уже в течение первого семестра, проведенного в Берлине, я, под руководством лучших профессоров, приобрел солидную подготовку для изучения филологических наук. Что общего имела моя буйно разразившаяся страсть к свободе с университетскими семинариями! При первом же беглом посещении аудитории затхлый воздух и проповеднически-монотонная, поучи-

тельно-широковещательная речь вызвали во мне такую усталость, что мне пришлось сделать усилие, чтобы не опустить сонную голову на скамейку: ведь это была опять та же школа, из которой я был так счастлив вырваться, тот же класс с возвышенной кафедрой и с пустым крохоборством. Мне невольно почудилось, что из тонких губ тайного советника сыплется песок, — так мелко, так равномерно текли в душный воздух слова из потертой тетрадки. Чувство, которое я испытывал еще учеником, — будто я попал в покойницкую духа, где равнодушные руки анатомов прикасаются к умершим, — с пугающей отчетливостью оживало в этом рабочем кабинете антикварного александрийства. И с какой силой сказалось это инстинктивное отвращение, когда, после с трудом прослушанной лекции, я вышел на улицу Берлина — Берлина того времени! Пораженный собственным ростом, он играл своей так внезапно расцветшей возмужалостью, изо всех улиц и закоулков сверкая электрическим блеском. Это была горячая, жадная, нетерпеливая жизнь, которая своей неукротимой алчностью, своим бешеным темпом отвечала дурману моей собственной, только-что пробудившейся возмужалости. Мы оба, город и я, внезапно вырвавшись из протестантского, ограниченного, любящего порядок мещанства, поспешно отдавались еще не испытанному опьянению силы и возможностей. Мы оба, город и я — легко воспламеняющийся юноша, — мы оба дрожали подобно динамо-машине, полные беспокойства и нетерпения. Никогда я не понимал, никогда не любил Берлина так, как тогда, ибо точно так же, как в этом переполненном, напоенном всеми соками, теплом человеческом пчельнике, так и во мне каждая клеточка стремилась к быстрому расширению. Это нетерпение, присущее здоровой молодости, — где же было ему разрядиться, как не в горячем, судорожном лоне

этого гиганта-женщины, в этом нетерпеливом, пылком, сильном городе! Властным порывом он привлек меня, я весь погрузился в него, ощупывая его вены; мое любопытство поспешно обнимало его каменное и все же теплое тело. С утра до ночи я сновал по улицам, ездил к озерам, проникал во все его тайники; словно одержимый бесом, вместо того чтобы отдаться занятиям, я с головой окунулся в жизнь приключений. Но в этой крайности я оставался верен себе; с раннего детства я был неспособен к совмещению интересов: собирая что-нибудь или начав какую-нибудь игру, я сейчас же становился равнодушен ко всему остальному; всегда и везде я повинуюсь какому-нибудь одному страстному побуждению, и еще теперь, в своих занятиях, я фанатически врываюсь в какую-нибудь проблему и не отступаю, пока не раскушу ее до конца.

В ту пору, в Берлине, чувство свободы охватило меня как могучее опьянение. Я с трудом выносил краткое заключение во время лекции; пребывание в четырех стенах моей комнаты было для меня нестерпимо; минуты, не приносявшие какого-нибудь приключения, не проведенные в обществе, в движении, суматохе, игре, казались мне потерянными. И вот, только-что выпущенный на свободу юный провинциал изо всех сил старается казаться настоящим мужчиной: он вступает в корпорацию, пытается придать своему, в сущности, робкому нраву что-то смелое, неопрятное, распутное; прожив в Берлине какую-нибудь неделю, разыгрывает столичного жителя и бывалого человека, с невероятной быстротой приучается к сидению по углам кафе, как истый *miles gloriosus* ¹. В числе атрибутов возмужалости неизбежны были, конечно, и жен-

¹ По-латыни: славный воин; иронически вообще — военный.

Прим. перев.

щины, — вернее, бабы, как мы выражались в своем денческом высокомерии, — и тут оказала мне услугу моя красивая внешность: высокий, стройный, с еще сохранившимся морским загаром и свежестью, гибкий в движениях, я имел большие преимущества перед дряблыми, высохшими, как сельди, приказчиками, которые, как и мы, отправлялись каждое воскресенье за добычей на танцевальные вечера в Галлензе и Гундекеле ¹ (тогда еще находившиеся далеко за городом).

Горничная с соломенно-светлыми волосами, изобличавшими уроженку Мекленбурга, с белоснежной кожей и широкими, упругими бедрами, которую я притаскивал в свой угол, разгоряченную от танцев, сменялась маленькой, вертлявой, нервной познанской еврейкой, продававшей у Тица ² чулки. Все это была в большинстве случаев легкая добыча, быстро передававшаяся товарищам. Но эта неожиданная легкость завоевания опьяняла вчера еще робкого новичка, — успехи делали меня смелее, смелость обеспечивала новые победы. Я расширял поле действий: после племянницы моей квартирной хозяйки наступила очередь — первый триумф всякого молодого человека! — настоящей замужней женщины, которую соблазнила свежесть сильного, юного блондина. Постепенно улица и всякое публичное сборище становились для меня местом самой неразборчивой, почти превратившейся в спорт охоты за приключениями. Однажды, преследуя на Унтер ден Линден ³ хорошенькую девушку, я — совершенно случайно — очутился у дверей университета. Я невольно улыбнулся при мысли, что вот уже три месяца как я не

¹ Галлензе и Гундекеле — ближайшие пригороды Берлина.

² Тиц — универсальный магазин в Берлине.

³ Унтер ден Линден — главная улица Берлина. — *Прим. перев.*

переступал через этот порог. Из шалости я, с одобрения столь же легкомысленного товарища, слегка приоткрыл дверь. Мы увидели (невероятно смешным показалось нам это зрелище) сто пятьдесят спин, согнутых над пюпитрами, точно в общей молитве, с поющим псалмы седым старцем. Быстро я захлопнул дверь, предоставив этот мутный ручей красноречия собственному течению на радость прилежным коллегам, и задорно продолжал с товарищем свой путь по солнечной аллее.

Порою мне кажется, что никогда ни один молодой человек не проводил время бессмысленнее, чем я в те месяцы. Я не брал в руки книг; уверен, что не произнес ни одного разумного слова, не имел ни одной настоящей мысли в голове; инстинктивно я избегал всякого культурного общества, чтобы как можно сильнее ощутить своим пробудившимся телом едкость запретного до тех пор плода. Быть может, это упоение своими собственными соками, это бесцельное саморазрушение неизбежно присущи всякой сильной, вырвавшейся на свободу молодости, — но моя исключительная одержимость и мое распутство грозили стать опасными, и возможно, что я бы опустился окончательно или погиб в затхлости этих ощущений, если бы случай не уберег меня от нравственного падения.

Этот случай — теперь я благодарю судьбу за него — заключался в том, что мой отец был неожиданно командирован на один день в Берлин, в министерство, на съезд ректоров. Как истый педагог, он, не предупредив меня о своем приезде, использовал этот случай, чтобы проверить мое поведение, застав меня врасплох. Опыт удался как нельзя лучше. В этот день, как обычно по вечерам, меня посетила в моей дешевой студенческой комнатухе в северной части города — вход был отделен портьерой от кухни хозяйки — девица, с которой мы проводили время

очень интимно. Вдруг раздался внушительный стук в дверь. Предположив посещение товарища, я недовольным тоном пробормотал: «Не принимаю». Но стук сейчас же повторился; затем, с видимым нетерпением, постучали в третий раз. Взбешенный, я натянул брюки, чтобы прогнать назойливого посетителя. В рубашке нараспашку, с подтяжками на весу, босой, я приоткрыл дверь и — будто удар обуха по голове — во мраке передней я узнал силуэт отца. Его лица я не разглядел в темноте, — только стекла очков блестели, отражая свет. Но достаточно было этого непрошенного силуэта, чтобы дерзкое слово, готовое вылететь из моих уст, застряло у меня в горле, будто острая кость. Я был совершенно ошеломлен и должен был — ужасный миг! — скромно попросить его подождать в кухне несколько минут, пока я приведу в порядок свою комнату. Как я уже сказал, мне не видно было его лица, но я чувствовал: он понял. Я это чувствовал в его молчании, в его сдержанности, когда он, не подавая мне руки, с жестом отвращения отодвинул портьеру и вошел в кухню. И там, перед железным очагом, хранившим испарения подогретого кофе и вареной репы, старик ждал, — ждал, стоя, десять минут, унижительных и для него и для меня, — пока моя девица одевалась и затем, проходя мимо портьеры, выбиралась из квартиры. Он должен был слышать ее шаги, должен был видеть, как шевелились от движения воздуха складки портьеры, когда она пробиралась, — а я все еще не мог выпустить его из недостойной засады: прежде надо было устранить слишком откровенный беспорядок постели. Тогда только — никогда в жизни я не чувствовал себя более пристыженным — я мог предстать перед ним.

Мой отец был сдержан в этот тяжелый час, — до сих пор я благодарен ему за это. Когда я хочу восстановить

в своей памяти образ этого давно умершего человека, я запрещаю себе смотреть на него с точки зрения ученика, который привык видеть в нем вечно поучающего, все порицающего, помешанного на пунктуальности педанта: я стараюсь представить его себе таким, каким он был в эту минуту, в самую человеческую его минуту, когда старик, преисполненный сдерживаемого отвращения, безмолвно вошел вслед за мной в душную комнату. Он держал в руках шляпу и перчатки; он хотел положить их, но сейчас же невольным жестом выразил отвращение: ему было противно чем-нибудь прикоснуться к этой грязи. Я предложил ему кресло; он не ответил и только отстраняющим движением отказался от всякого соприкосновения с предметами, находившимися в этой комнате.

После нескольких ледящих душу минут, в течение которых мы стояли, не глядя друг на друга, он снял, наконец, очки, обстоятельно протер их, что, как я знал, было у него признаком замешательства, и я заметил, как старик, надевая их, украдкой провел рукой по глазам. Нам было стыдно друг перед другом, и мы не находили слов, чтобы прервать молчание. В душе я опасался, что он начнет читать нотадию, обратится ко мне с красноречивым поучением гортанным голосом, который я ненавидел и над которым издевался со школьной скамьи. Но — до сих пор я вспоминаю об этом с благодарностью — старик не проронил ни слова и избегал смотреть на меня. Наконец, он подошел к шатающейся этажерке, где стояли мои учебники, открыл их и с первого взгляда должен был убедиться, что они не тронуты и почти не разрезаны.

— Покажи записи лекций! — это приказание было первым его словом. Дрожащей рукой я протянул их ему: я ведь знал, что стенографическая запись заключала в себе

одну единственную лекцию. Он быстро просмотрел эти две страницы и, без малейшего признака волнения, положил тетрадь на стол. Затем он подвинул стул, сел, посмотрел на меня серьезно, но без всякого упрека, и спросил:

— Ну, что ты думаешь обо всем этом? Как ты представляешь себе это в дальнейшем?

Этот спокойный вопрос сразил меня окончательно. Я весь был в состоянии судорожного напряжения: если бы он стал меня бранить, я бы гордо оборонялся; если бы он попытался растрогать меня, я бы его высмеял. Но этот деловой вопрос сломил мое упрямство: его серьезность требовала серьезного ответа, его выдержанное спокойствие — уважения. Я не решаюсь даже вспоминать, что я отвечал; весь последующий разговор еще и теперь не поддается моему перу: бывают внезапные потрясения, внутренние взрывы, которые в пересказе звучали бы сентиментально, слова, которые можно искренне произнести только раз в жизни, с глазу на глаз, в минуту неожиданного смятения чувств. Это был единственный мой разговор с отцом, когда я без малейшего колебания покорился ему добровольно: я предоставил ему всецело решение моей судьбы. Он же только посоветовал мне покинуть Берлин и следующий семестр поработать в каком-нибудь провинциальном университете. Он не сомневался, что я с увлечением нагоню пропущенное.

Его доверие тронуло меня; в этот миг я почувствовал, как несправедлив я был в течение всего своего отрочества к этому старику, моему отцу, окружившему себя стеной холодной формальности. Я закусил губы, удерживая горячие слезы, подступавшие к глазам. И он, повидимому, был охвачен тем же чувством: он вдруг протянул мне дрожащую руку и поспешно вышел. Я не осмелился пойти за ним и остался — смущенный, беспокойный, — вытирая

платком кровь, выступившую на губе, в которую я впился зубами, чтобы подавить свое волнение.

Это было первое потрясение, постигшее меня — девятнадцатилетнего юношу; без вихря сильных слов оно опрокинуло шаткий карточный домик, со всей надуманной мужественностью, самообожанием, игрой в студенчество, который я выстроил в течение этих трех месяцев. Благодаря пробудившейся воле, я почувствовал в себе достаточно сил, чтобы отказаться от мелких развлечений. Мной овладело нетерпение направить растрченную энергию на занятия науками: жажда серьезности, трезвости, внутренней дисциплины и взыскательности охватила меня. В этот час я дал обет монашеского служения науке, еще не предчувствуя, какое упоение готовит мне научная работа, и не подозревая, что и в возвышенном царстве духа буйный ум встретит и приключения и опасности.

* * *

Маленький провинциальный город, выбранный мною по совету отца на следующий семестр, находился в средней Германии. Его громкая академическая слава стояла в резком противоречии с тощей кучкой домов, теснившихся вокруг университета. Мне не стоило большого труда путем расспросов добраться от вокзала, где я оставил свои веши, до *alma mater*, и, попав в это старомодное, широко раскинувшееся здание, я сразу почувствовал, что внутренний круг замыкается здесь быстрее, чем в берлинской голубятне. В течение двух часов я успел быть зачисленным и посетить большинство профессоров; только моего непосредственного руководителя — профессора английской филологии — мне не удалось застать сразу: мне сказали, что после обеда, около четырех часов, его наверное можно будет видеть в семинарии.

Движимый стремлением не терять ни одного часа, — ибо теперь я рвался к науке с той же страстностью, с какой избегал ее прежде, — я, после беглого осмотра маленького города, который, в сравнении с Берлином, казался погруженным в наркотический сон, ровно в четыре часа был на месте. Служитель указал мне дверь семинария. Я постучал. Мне послышалось, что изнутри чей-то голос ответил мне, и я вошел.

Но я ошибся. Никто не отвечал на мой стук, а донесшийся до меня невнятный возглас вырвался из энергичной речи профессора, который, очевидно импровизируя, излагал что-то двум десяткам окруживших его тесным кольцом студентов. Смущенный своим непрошенным вторжением, я хотел тихо удалиться, воспользовавшись тем, что мое появление никем из присутствующих не было замечено, но побоялся обратить на себя внимание. Я остановился у двери и стал невольно прислушиваться.

Лекция, повидимому, возникла из коллоквиума или дискуссии, — об этом позволяли догадываться непринужденные позы и совершенно случайная группировка слушателей вокруг профессора: сам он не стоял на кафедре, а, свесив ноги, сидел почти по-мальчишески на одном из столов; небрежные позы окружавших его студентов, под влиянием напряженного интереса, постепенно застывали в пластической неподвижности. Повидимому, они стояли, разговаривая, когда профессор вдруг вскочил на стол, заговорил, привлек их к себе — будто бросив лассо — и неподвижно приковал их к месту. Достаточно было нескольких минут, чтобы и я, забыв о своем непрошенном появлении, магнетически почувствовал чарующую силу его речи. Невольно я приблизился, чтобы видеть движения его рук, удивительным образом напрягавшие и обволакивавшие его речь: при властно вырвавшемся слове они расправлялись,

будто крылья, и взлетали вверх, а затем опускались плавно и музыкально в успокаивающем жесте дирижера. И все жарче бушевала речь, а окрыленный всадник, словно отделяясь от крупы несущейся галопом лошади, ритмично подымался с твердого стола и увлекал за собой в этот бурный, наполненный сверкающими картинками полет мысли. Никогда мне не приходилось слышать такую вдохновенную, такую поистине захватывающую речь; в первый раз я пережил то, что римляне называли *garpus*, — вознесение человека над самим собой: не для него, не для других произносили слова эти неутомимые губы: внутренний огонь, пылавший в этом человеке, выбрасывал пламенные языки.

Никогда мне не приходилось переживать слово как экстаз, страстность речи как стихийное явление. Будто внешний толчок бросил меня во власть неизведанного чувства. Испытывая магнетическое действие какой-то силы, которая была больше, чем любопытство, я подвигался вперед, сам того не замечая, почти неощутимыми шагами лунатика. Так, незаметно, я был вовлечен в магический круг: сам того не сознавая, я оказался на расстоянии одного шага от говорившего, среди других слушателей, так же, как и я, зачарованных и потому не замечавших ни меня, ни вообще окружающего. Я был захвачен течением речи, не зная ее истоков: повидимому, кто-то из студентов высказал суждение о Шекспире как о метеорическом явлении, а говоривший сверху хотел доказать, что он был только самым ярким представителем целого поколения, духовным выражением бушевавшей страстями эпохи. Одним штрихом он нарисовал тот необыкновенный час Англии, тот единственный миг экстаза, который внезапно наступает в жизни каждого народа, как и в жизни каждого человека, напрягая все силы к мощному порыву

в вечность. Земля вдруг расширилась, появился новый континент, а между тем, древнейшая опора старого мира — папство — под угрозой падения; за морями, которые принадлежат им, с тех пор как испанская Армада погибла в волнах во время бури, открываются новые возможности; мир ширится, и невольно тянется за ним душа: и она хочет быть обширной, хочет познать всю глубину добра и зла, хочет открывать, завоевывать подобно конквистадорам; ей нужен новый язык — новая сила. И со сказочной быстротой нарождаются новые люди, владеющие этим языком, поэты — полсотни, сотня в течение одного десятилетия — буйные, необузданные гуляки: они не возделывают сады Аркадии, подобно придворным поэтикам предшествующей эпохи, не пересказывают в стихах прилизанную мифологию, — они атакуют театр, завоевывают арену, которая до тех пор служила только для травли зверей и кровавых игр, — горячий пар крови еще дымится в их произведениях: их трагедии — пока еще такой же *circus maximus*,¹ в котором ненасытные чувства стравливаются, как дикие звери. Без удержу свирепствуют их львиные страсти; они стараются превзойти друг друга в жестокости и неумеренности; все дозволено перу — кровосмешение, убийство, всякое преступление и всякое злодеяние; невероятно беспорядочное сплетение всего человеческого справляет буйную оргию; подобно голодным зверям, выпущенным из клетки, выбрасываются на огражденную деревянным барьером арену грозные, опьяняющие страсти. Взрыв петарды, продолжавшийся пятьдесят лет, кровоизлияние, стихийное извержение, опрокидывавшее и разрывавшее целый мир; едва слышны отдельные голоса, едва разли-

Circus maximus — колоссальный цирк в древнем Риме.— *Прим. перев.*

чимы отдельные фигуры в этой оргии силы. Одна страсть возбуждает другую, каждый дает, каждый крадет, каждый состязается с другими, чтобы превзойти их, быть первым, и все они — только духовные гладиаторы на общем празднике, раскрепощенные рабы, гонимые вперед духом времени. Он собирает их из кривых, темных улиц предместья и из дворцов: Бен Джонсон — внук каменщика, Марло — сын сапожника, Месинджер — потомок камердинера, Филипп Сидней — богатый ученый государственный деятель, — все они захвачены кипучим водоворотом. Сегодня их превозносят, завтра они умирают в глубокой нищете, как Кид и Гейвуд, погибают с голоду, как Спенсер, на Кинг-стрите; все они — негодяи, буяны, развратники, комедианты, мошенники, но поэты, поэты, поэты. Шекспир составляет только их центр: *the very age and body of the time*; ¹ но его почти не замечаешь, — так бушует этот ураган, в таком изобилии громоздятся сочинения, в таком смятении буйствуют страсти. И вдруг это изумительное извержение прекращается — так же судорожно, как началось; драма кончилась: Англия истощена, и на сотни лет туманная пелена Темзы заволакивает умы. Одним набегом целое поколение завладело всеми вершинами и глубинами страсти; переполненная, необузданная душа вылилась из груди, — и страна покоится, усталая, изможденная: пуританская ограниченность закрывает театры, умолкает язык страстей, снова заговорила библия, — заговорило божественное там, где повествовалось самое человеческое, где раздавалась самая горячая исповедь всех времен, где одним кипучим поколением изжита жизнь многих тысяч людей...

¹ Фигуральное выражение, которое можно передать по-русски: *плоть от плоти и кровь от крови своего времени.* — *Прим. перев.*

Тут он неожиданно направил огненные вспышки своей речи на нас: — Теперь вы понимаете, почему я читаю свой курс не в исторической последовательности, почему я начинаю не с короля Артура ¹ и Чоусера, ² а вопреки всем правилам, с елизаветинцев? ³ Вы понимаете, почему я требую, прежде всего, ознакомления с этой эпохой, живания в ее исключительно богатую жизнь? Ибо нет филологии без переживания, нет чисто грамматического слова без понимания его значения. И вы, молодые люди, должны увидеть язык и страну, которую вы хотите изучать, прежде всего в состоянии высшего расцвета красоты, силы и молодости, высшего напряжения страстей. Прежде всего, вы должны услышать язык из уст поэтов, — тех, кто его создает и совершенствует; вы должны почувствовать и пережить поэзию, раньше чем мы начнем ее анатомировать. Поэтому я всегда начинаю с вершин, ибо Англия — это Елизавета, это Шекспир и шекспирианцы. Все предшествующее — только подготовка, все последующее — жалкие попытки повторить этот смелый прорыв в бесконечность. Но здесь, — почувствуйте это, молодые люди, — здесь самый яркий расцвет юности нашего мира, и всякое явление, всякий человек познается только в горении, только в страсти. Ибо дух рождается из крови, мысль из страсти и страсть из вдохновения. Поэтому Шекспир и его современники — вот кто, по преимуществу, молодые люди, дает вам истинную молодость. Прежде всего — воодушевление, потом уже —

¹ Средневековые повести о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола.

² Чоусер — английский поэт XIV века.

³ Елизаветинцы — писатели эпохи расцвета английской литературы в XVI веке, в царствование королевы Елизаветы (1558 - 1603); их имена приведены в тексте. Этот период завершился шекспировской драмой. — *Прим. перев.*

прилежание, прежде всего он, самый недосыгаемый, самый совершенный — Шекспир: пусть это великолепнейшее отражение мира предшествует изучению слова.

— Ну, довольно на сегодня. До свидания, — властным заключительным жестом он внезапно оборвал свою речь и спрыгнул со стола. Дрогнув, рассыпалось тесное кольцо студентов, стулья закричали, застучали, задвигались столы, два десятка ртов разомкнулись, глубоко дыша, заговорили, закашляли, — теперь только стало очевидно, как магнетически действовало очарование, замкнувшее уста двадцати юношам. Зато теперь в тесной комнате царило оживленное движение; одни подошли к профессору, чтобы поговорить с ним, другие, покрасневшись, обменивались впечатлениями; ни один слушатель не остался безучастным, все испытывали действие электрического тока, — он внезапно прервался, но его искры будто еще сверкали, и треск их будто еще слышался в сгустившемся воздухе.

Я сам чувствовал себя прикованным к месту; я был совершенно подавлен. Страстный по натуре, я привык воспринимать явления жизни, всецело отдаваясь порыву чувства, — и вот, в первый раз я испытал пленительное обаяние человека, учителя, превосходство, которому покориться казалось мне долгом и наслаждением. Кровь в венах кипела, я дышал учащенно, во всех членах своего разгоряченного тела я ощущал этот бешеный, кипучий ритм, нетерпеливо подталкивавший меня. Наконец, я уступил ему и пробрался вперед, чтобы взглянуть в лицо этого человека, ибо — удивительно! — пока он говорил, я не разглядел его очертаний, — до такой степени они слились с его речью, растворились в ней.

И теперь я мог различить только неясный, затененный профиль: он стоял в полусвете окна, обратив лицо к студенту, с которым он разговаривал, дружески положив руку

ему на плечо. Но даже это мимолетное движение выражало внутреннюю красоту и сердечность, которой я не мог предположить у педагога. Между тем, несколько студентов обратили на меня внимание, и, для того чтобы не показаться непрошеным гостем, я приблизился к профессору, ожидая, пока он окончит разговор. Теперь только мне удалось посмотреть ему в лицо: голова римлянина, выпуклый мраморный лоб, сверкающий белизной под волной зачесанных назад вьющихся и густо покрывающих виски седых волос, импозантно - смелое и одухотворенное построение верхней части лица, переходящее в мягкие, почти женственные формы, благодаря глубоким теням под глазами, гладкой округлости подбородка и беспокойным, то улыбающимся, то нервно вздрагивающим губам. Мужественная красота лба смягчалась, благодаря гибкой пластичности бледных щек и подвижного рта, создавая общее впечатление добродушия. Его поза казалась принужденно сдержанной.

Левая рука небрежно покоилась на столе, но в косточках кисти чувствовалось непрерывное вибрирование; узкие пальцы, чересчур нежные, чересчур мягкие для мужской руки, нетерпеливо рисовали на пустом столе невидимые фигуры, в то время как глаза из-под тяжелых век приветливо устремлялись к собеседнику. Был ли он обеспокоен чем-нибудь, или не улеглось еще возбуждение в напряженных нервах, — во всяком случае, тревожная неутомимость руки противоречила спокойному, прислушивающемуся и выжидающему выражению его лица; казалось, что, утомленный, он все же всецело погружен в разговор со студентом.

Наконец, очередь дошла до меня, я подошел к нему, назвал свою фамилию, и сейчас же загорелась искра в его излучающем почти голубой свет зрачке. В течение двух-

трех долгих секунд блеск его вопрошающих глаз пробежал по моему лицу от подбородка до волос. Вероятно, я покраснел от этого ласково-испытующего созерцания, и он поторопился полуулыбкой положить конец моему смущению.

— Вы хотите заниматься у меня? Нам придется поговорить подробнее. Только, простите меня, я не могу сделать этого сейчас. У меня есть еще кое-какие дела. Может быть, вы подождете меня внизу у ворот и проводите меня домой?

Он протянул мне руку, — нежную, узкую руку, которая коснулась моих пальцев легче перчатки, — и сейчас же любезно обратился к следующему ожидавшему.

В течение десяти минут я поджидал его у ворот, с сильно бьющимся сердцем. Что ему ответить, если он спросит про мои занятия, как сознаться, что поэзия никогда не заполняла ни моего рабочего времени, ни моего досуга? Не станет ли он презирать меня? Не изгонит ли из пламенного круга, который так магически охватил меня сегодня? Но вот он, ласково улыбаясь, приблизился быстрыми шагами, — и одно его присутствие уже прогнало всякое смущение. Без всяких расспросов с его стороны я признался ему, что потерял первый семестр. Снова я ощутил его теплый, участливый взгляд.

— Пауза тоже необходима в музыке, — сказал он с ободряющей улыбкой, и затем — очевидно, для того, чтобы не смущать меня моим невежеством — он перевел разговор на личные дела, спросил, откуда я родом и где я собираюсь здесь поселиться. Узнав, что я еще не нашел себе квартиры, он предложил мне свое содействие и посоветовал, прежде всего, справиться в его доме, где старая, полуглухая женщина сдает комнату, которой многие его ученики оставались довольны; обо всем остальном он

позаботится сам: если я действительно хочу серьезно заниматься, он сочтет приятным долгом помочь мне во всех отношениях.

Подойдя к дому, он снова протянул мне руку и пригласил меня посетить его на другой день вечером, чтобы совместно выработать план занятий. И так велика была моя благодарность к этому человеку за его незаслуженную мною доброту, что я, преисполненный благоговения, едва коснулся его руки, смущенно снял шляпу и забыл поблагодарить его хотя бы одним словом.

* * *

Само собой разумеется, я тотчас же снял комнатку в том же доме. Я снял бы ее даже и в том случае, если бы она мне не понравилась, — из наивно-благодарного стремления ощущать пространственную близость к этому волшебному учителю, давшему мне в течение одного часа так неизмеримо много. Но комнатка оказалась прелестной: расположенная этажом выше квартиры моего учителя, она была темновата от выступавшего фронтона; зато из окна открывался обширный вид: за соседними крышами церковной башни виднелись зеленые луга и над ними облака, родные, любимые. Совершенно глухая старушка с материнской трогательностью заботилась о своих временных питомцах. Я столкнулся с ней, и через час скрипучая деревянная лестница стонала под тяжестью моего чемодана.

В тот вечер я уже не выходил из дому; я забыл даже поесть, покурить. Сразу же я вытащил из чемодана случайно захваченного Шекспира и нетерпеливо раскрыл его — впервые после многих лет: мое любопытство страстно разгорелось после прослушанной лекции, и я воспринимал поэтическое слово, как никогда прежде. Можно ли объяснить

подобное превращение? Внезапно перед мной раскрылся новый мир. Сверкающие слова так неудержимо неслись ко мне, будто искали меня веками. Огненными волнами разливались стихи, звуча и увлекая меня вдаль. Я чувствовал в висках удивительную легкость, — это было ощущение полета. Я дрожал, я содрогался, я чувствовал, как лихорадочно согрелась кровь в моих венах, — ничего подобного я никогда не испытывал прежде, — и все это было только отзвуком насыщенной страстью речи профессора. Но опьянение этой речью еще не покинуло меня; читая вслух отдельные стихи, в своем голосе я слышал его голос, фразы неслись в том же стремительном ритме, мои руки повторяли движения его рук... Каким-то волшебством в один час была разрушена стена, отделявшая меня от духовного мира. В моей страстной натуре пробудилась новая страсть, которой я остался верен до конца, — жажда познать все земное наслаждение через пылающее слово. Случайно я наткнулся на «Кориолана», и, как откровение, поразила меня мысль, что во мне заложены все элементы этого, казалось бы, чуждого нашему времени римлянина — гордость, высокомерие, гнев, язвительная насмешливость, едкость, весь свинец, все золото, все металлы чувства. Какое неиспытанное наслаждение охватить все это одним магическим взлетом! Я читал, читал без устали, пока не заболели глаза; когда я посмотрел на часы, они показывали половину четвертого. Почти испуганный этой новой силой, которая в течение шести часов напрягала и в то же время усыпляла все мои чувства, я потушил свет. Но в душе продолжали жить и сверкать эти образы. Я едва уснул в страстном ожидании следующего дня, который должен был расширить открывшийся передо мной волшебный мир и сделать его моим достоянием.

Но следующее утро принесло разочарование. Горя нетерпением, я одним из первых вошел в аудиторию, где мой учитель (так я буду называть его отныне) должен был читать лекцию по английской фонетике. Но, увидев его, я испугался: неужели это был тот же человек? Неужели только мое возбужденное воображение создало из него Кориолана на форуме, с героической смелостью поражающего и покоряющего молниеносным словом? Тихой, медлительной походкой в аудиторию вошел усталый старик. Словно светящийся матовый диск спал с его лица. Сидя на первой скамейке, я заметил почти болезненно тусклые черты лица, испещренного острыми морщинами и широкими складками; синие тени создавали впадины на серых, дряблых щеках; бледные веки скрывали его взор; чересчур бледные, чересчур узкие губы лишали голос металла. Куда скрылась его бодрящая веселость, куда исчез ликующий избыток сил? Голос казался мне чужим: будто отрезвленный грамматической темой, он звучал утомительно однообразно, как усталые шаги по сухому, скрипучему песку.

Беспокойство охватило меня. Ведь это был не тот человек, которого я ждал сегодня с минуты пробуждения: где его лицо, вчера еще освещенное добротой и вдохновением? Теперь состарившийся профессор автоматически разматывал клубок своего курса. С все возрастающим трепетом я вслушивался в его речь: не вернется ли его вчерашний голос, согревающая вибрация, которая, будто звучащей рукой, охватила меня и вознесла на вершины страсти? Обращаясь к нему, мой тревожный взгляд с неизменным разочарованием встречал чуждый облик: это был несомненно тот же человек, но он казался опустошенным, лишенным всякой творческой силы — пергаментная маска усталого старика.

Но как это могло случиться? Можно ли быть таким юным вчера и утратить всякие следы юности сегодня? Разве бывают такие внезапные вспышки духа, мгновенно преобразующие и речь, и внешний облик старика? Меня мучил этот вопрос. Я сгорал от жажды разгадать этого двуликого человека. Едва он, не глядя на нас, сошел с кафедры, я, следуя внезапному внушению, поспешил в библиотеку и попросил его сочинения. Может быть, он сегодня устал, может быть, его воодушевление было подавлено нездоровьем; здесь же, в непреходящих памятниках, должен был найтись ключ к пониманию этого удивительного двуликого существа. Служитель принес книги: я был изумлен — так мало! В течение двадцати лет этот уже стареющий человек не написал ничего, кроме жидкой пачки брошюр — предисловий, введений, исследования о подлинности шекспировского «Перикла», параллели между Гельдерлином и Шелли¹ (правда, написанной в то время, когда ни тот, ни другой не пользовались широким признанием) и разной филологической мелочи. Во всех брошюрах было объявлено, как приготовленное к печати, двухтомное сочинение «Театр „Глобус“, его история, его драматургии», — но, несмотря на то, что первое сообщение об этом появилось 20 лет тому назад, библиотекарь на мой вторичный вопрос ответил, что оно не вышло в свет. Нерешительно я перелистывал эти брошюры в надежде восстановить по ним его звучный голос и бурный ритм речи. Но эти сочинения отличались неизменной строгостью, — в них не было и следа набегающего горячими волнами нетерпеливого ритма его пьянящей речи. «Как жалко!» — простонало в моей груди. Я готов был колотить себя, я дрожал от злости и разоча-

¹ Гельдерлин — немецкий поэт (1770 — 1843); Шелли — английский поэт (1792 — 1822). — *Прим. перев.*

рования в своем чувстве, которое я отдал ему так быстро и так легкомысленно.

Но через несколько часов, в семинарии, я снова узнал его. На этот раз он устроил дискуссию, по образцу английских семинариев. Два десятка студентов были разделены на две группы: одна группа защищала тезис, другая возражала.

Тема была взята опять из Шекспира: обсуждался вопрос — следует ли рассматривать Троила и Крессида¹ (его излюбленная драма), как пародические фигуры, а само сочинение, как сатиру, или же оно представляет собой скрытую трагедию. Быстро из чисто интеллектуального спора возникло возбужденное его умелой рукой электрическое напряжение. Аргументы сталкивались, как удары; колкие, язвительные возгласы подогревали спор, который уже грозил чрезмерным возбуждением враждебных чувств. Слышалось уже потрескивание электрических искр, и вот — он бросился в огонь, умерял слишком сильный натиск, искусно возвращал спор в рамки темы и, направляя его ввысь, сообщал ему новое интеллектуальное напряжение. Так он стоял среди этого пламенного моря, зараженный общим возбуждением, то подстрекая, то удерживая петушиный бой мнений, — властитель этой нахлынувшей волны юношеского энтузиазма и сам захваченный ею. Прислонившись к столу, скрестивши руки на груди, он бросал взгляды на молодых людей, одному улыбаясь, незаметно подмигивая другому, подбадривая его к возражению, и, как накануне, возбуждение сверкало в его взоре: я чувствовал, — он должен был сделать над собою усилие, чтобы своим вмешательством не нарушить поток слов. Но он сдерживал себя: я видел это по его рукам, которые все теснее обхва-

¹ Герои одноименной драмы Шекспира. — *Прим. перев.*

тывали грудь, я угадывал это по вздрагивающим углам губ, с трудом удерживавших готовое сорваться слово. Но настала минута, и он, как пловец, бурно бросился в дискуссию; энергичным жестом освободившейся руки он, будто дирижерской палочкой, прервал шумящий поток. Все умолкли. Он заговорил. По своему обыкновению, он нагромождал аргументы, — и вдруг они предстали перед нами, как одно стройное целое. И во время речи к нему вернулось вчерашнее выражение лица, складки разгладились в живой игре нервов, стан выпрямился смело и властно, и, вырвавшись из напряженно выжидающей, наклоненной позы, он бросился в спор, как в бушующий поток. Импровизация увлекла его. Я начал догадываться, что, вялый наедине с собой, у себя в кабинете или в переполненной аудитории он был лишен горячего материала, который здесь, в нашей среде, в атмосфере созданного им очарования, взрывал какую-то внутреннюю преграду; нужен был — о, как я это чувствовал! — наш энтузиазм, чтобы пробудилось в нем вдохновение, наша откровенность — чтобы открылись его сокровища, наша молодость — чтобы воскресло его юношеское воодушевление. Подобно тому как менада опяняется неистовым ритмом рук, все быстрее и быстрее ударяющих в тимпан, так и его речь становилась все прекраснее, все пламеннее, все ярче в потоке горячих слов, и, чем более сгущалось наше молчание (наше зачарованное безмолвие было словно разлито в аудитории), тем выше, тем напряженнее, тем торжественнее возносился его гимн. И в эти минуты мы были всецело в его власти, окрыленные, упоенные его полетом.

И снова, когда внезапно цитатой из «Шекспира» Гете он закончил свою речь, неудержимо прорвалось наше возбуждение. И снова, как вчера, он, утомленный, опираясь руками на стол, с побледневшим лицом, по которому раз-

ливалась мелкими трелями игра нервов, и во взгляде его удивительно мерцало упоенное сладострастье женщины, только-что освободившейся из могучих объятий. Мне было страшно заговорить с ним; но случайно его взор упал на меня. И он, очевидно, почувствовал мою восторженную благодарность: он приветливо улыбнулся мне и, слегка наклонившись и положив руку мне на плечо, напомнил, что мы условились встретиться у него сегодня вечером.

Ровно в семь часов я был у него. С каким трепетом перешагнул я, мальчик, через этот порог! Нет более сильной страсти, чем юношеское обожание; нет ничего более робкого, более женственного, чем вызванная им тревожная застенчивость. Горничная проводила меня в его рабочий кабинет — полутемную комнату, в которой я раньше всего заметил цветные корешки многочисленных переплетов, мерцавшие за стеклянными дверцами шкапов. Над письменным столом висела «Афинская школа» Рафаэля, — картина, которую (как я узнал впоследствии) он особенно любил, потому что все способы обучения, все воплощения духа символически объединились здесь в совершенном синтезе. Я видел ее впервые; своеобразное лицо Сократа невольно напоминало мне любимого учителя. Позади мраморной белизной блестело изваяние — парижский бюст Ганимеда в удачном уменьшении; рядом — святой Себастьян — произведение старого немецкого мастера — не случайное сопоставление трагической красоты с красотой торжествующей. С бьющимся сердцем я ожидал, все эти предметы символически открывали передо мной новый мир духовной красоты, о которой я до сих пор не подозревал и которой еще не уяснял себе, испытывая только напряженное стремление слиться с ней в братском объятии. Но времени для созерцания не оставалось: вот он вошел, приблизился ко мне, — и снова коснулся меня мягко обво-

лакивающий взгляд, тлеющий подобно скрытому огню, который, к моему изумлению, расплавлял самые затаенные мои помыслы. Я заговорил с ним совершенно свободно, как с другом, и, когда он спросил о ходе моих занятий в Берлине, с моих уст невольно сорвался — к моему величайшему испугу — рассказ о встрече с отцом, и я повторил ему, чужому человеку, обет со всей серьезностью отдаться занятиям. Он смотрел на меня, растроганный.

— Не только с серьезностью, но, прежде всего, со страстью, мой мальчик, — сказал он. — Кто не отдается науке страстно, тот, в лучшем случае, становится педагогом. Из самых недр своего существа надо подходить к вещам. Всегда, всегда страсть должна служить импульсом к работе.

Все теплее становился его голос в сгущающихся сумерках. Он рассказывал о своей молодости, — как и он в свое время натворил много глупостей, прежде чем нашел свое призвание; он уговаривал меня не терять бодрости духа и обещал сделать все от него зависящее, чтобы содействовать успешности моих занятий; он предложил мне без стеснения обращаться к нему со всеми вопросами и желаниями. Никогда в жизни никто не говорил со мной так участливо, с таким глубоким вниманием. Я дрожал от благодарности и был рад сумеркам, которые скрывали от него наvertывавшиеся на глаза слезы.

Часами я мог бы беседовать с ним, не замечая времени, но вот тихонько постучали в дверь. Дверь открылась и, словно призрак, вошла худенькая фигурка. Он встал и представил: — Моя жена. — Стройная тень приблизилась, протянула мне узкую руку и, обращаясь к нему, напомнила:

— Ужин готов.

— Да, да, я знаю, — ответил он поспешно и (по крайней мере, так мне показалось) с некоторой досадой. Внезапно в голосе его мне послышались холодные ноты,

и теперь, когда зажглось электричество, передо мной опять стоял бесстрастный старик-педагог, который вялым жестом простился со мной.

* * *

Следующие две недели я был захвачен чтением и занятиями. Я почти не покидал своей комнаты, обедал стоя, чтобы не терять времени; я занимался без перерыва, не останавливаясь, почти не ложась спать. Со мной случилось то же, что с принцем в восточной сказке: срывая одну за другой печати с дверей запертых комнат, он находил в каждой все больше и больше сокровищ и с все возрастающей алчностью обыскивал эти комнаты, горя нетерпением дойти до последней. Точно так же и я бросался от одной книги к другой, не утоляя ими своей безграничной жажды. Первое предчувствие необъятной шири духовного мира было так же обольстительно, как, еще недавно, полная приключений необъятность большого города; но к этому чувству примешивался детский страх, что мне не удастся овладеть ею. Я отказывал себе в сне, в развлечениях, в разговорах, запрещая себе чем бы то ни было отвлекаться, чтобы не терять ни минуты времени, которое я впервые научился ценить. Но более всего возбуждало мое усердие стремление оправдать доверие учителя, заслужить его одобрительную улыбку, быть им замеченным. Малейший повод обращался в испытание; непрерывно я подстрекал неумелую, но окрыленную мысль, чтобы произвести на него впечатление, удивить его. Если он упоминал в лекции имя поэта, которого я не знал, я после обеда бросался на поиски, чтобы на следующий день в дискуссии выказать свои знания. Мельком брошенное пожелание, едва замеченное другими, обращалось для меня в закон: достаточно было ему обронить замечание

по поводу вечного курения студентов, чтобы я тотчас же бросил зажженную папиросу и навсегда подавил в себе привычку, которую он порицал. Как слово евангелиста, было для меня его слово, благодатью и законом. Мое напряженное внимание, насторожившись, жадно ловило каждое его самое безразличное замечание. Алчно я хватал налету каждое его слово, каждый жест, чтобы дома со всей страстностью, со всем напряжением чувств одупать добычу и сохранить ее на дне души. Признав его единственным руководителем, я со жгучей нетерпимостью смотрел на товарищей, как на врагов: моя ревнивая воля неутомимо повторяла клятву во что бы то ни стало превзойти и опередить их.

Почувствовал ли он мое обожание, или пришелся ему по душе мой порывистый нрав, — во всяком случае, он отличил меня явным участием. Он руководил моим чтением, выдвигал меня, новичка, почти незаслуженно, в общих дискуссиях, и мне было разрешено заходить к нему по вечерам побеседовать в интимной обстановке. Он брал из шкапа какую-нибудь книгу и читал своим звучным голосом, который от возбуждения становился еще ярче и звонче, стихи, отрывки из трагедий или разъяснял спорные проблемы. За эти две первые недели опьянения я узнал о сущности искусства больше, чем за все предшествующие девятнадцать лет. Всегда мы бывали одни в этот слишком короткий для меня час. Около восьми часов тихонько стучали в дверь: его жена напоминала об ужине. Но она не входила в комнату, — повидимому, следуя указанию не мешать нашим беседам.

* *
*

Так прошли, богато заполненные, две недели — горячие недели раннего лета, — когда, однажды утром, моя работо-

способность лопнула, как чересчур натянутая пружина. Мой учитель не раз предостерегал меня от чрезмерного напряжения сил; он советовал мне время от времени позволять себе передышку и совершать прогулки за город. Теперь неожиданно сбылось его предсказание: я проснулся с тяжелой головой от тяжелого сна; буквы мелькали перед глазами, как иглы, едва я пытался читать. Рабски повинаясь малейшим указаниям учителя, я решил послушаться и на этот раз и на один день прервать занятия, отдавшись развлечениям.

Я вышел рано утром; в первый раз осмотрел старинный город; пересчитав сотни ступенек, поднялся, чтобы размять застывшие в неподвижности члены, на церковную башню, с площадки которой в открывшемся передо мной море зелени увидел маленькое озеро. Уроженец прибрежной полосы Северного моря, я страстно любил плавать, и как-раз здесь, на вершине башни, откуда моему взору открывались, подобно зеленеющей водной равнине, залитые яркими лучами солнца луга, у меня явилось, словно навеянное родным ветром, непреодолимое желание броситься в любимую стихию. Едва я успел, пообедав, отыскать купальню и окунуться в воду, как вернулось ко мне прежнее радостное ощущение своего тела, силы своих мышц, прикосновения солнца и ветра к обнаженной коже. В течение получаса я преобразился в прежнего буяна, который дрался с товарищами и готов был рисковать жизнью ради какой-нибудь безумной шалости. Плескаясь и вытягиваясь в воде, я забыл обо всем на свете, забыл и о книгах и о науке. С присущей мне одержимостью, снова отдаваясь страсти, которая в течение долгого времени не получала удовлетворения, я целых два часа бурно наслаждался встречей с любимой стихией; не менее тридцати раз я бросался с трамплина в воду, чтобы разря-

дять нахлынувший подъем силы, дважды я переплывал поперек озера, — а моя неукротимость все еще не была истощена. Фыркая, вздрагивая всеми мускулами, я жадно искал нового испытания; мое напряжение стремилось вылиться в каком-нибудь из ряда вон выходящем поступке.

И вот из женской купальни донесся треск дрогнувшего трамплина, — стоя на деревянном полу купальни, я почувствовала отраженное колебание от сильного прыжка. Стройная женская фигура, изогнутая стальным полукругом, подобно турецкой сабле, стремительно неслась в воду. На несколько мгновений забурлила и покрылась белой пеной поверхность озера, и сейчас же из образовавшегося водоворота вынырнула, уже выпрямившись, фигура женщины; нервными толчками она поплыла по направлению к острову. «За ней! Догнать ее!» Дух спорта обуял меня, быстро я бросился в воду и, выдвигая плечи вперед, ожесточенным темпом поплыл вслед за ней. Повидимому, заметив преследование, она приняла вызов. Она использовала преимущество своего положения — в момент начала состязания она была значительно впереди меня — и, по диагонали достигнув острова, поспешно направилась обратно. Быстро угадав ее намерение, я бросился по тому же направлению и работал так усердно, что моя вытянутая рука уже касалась кильватера; нас разделяло расстояние не более фута, — но вот она внезапно скрылась под водой и через несколько минут вынырнула у самого барьера женской купальни, лишая меня возможности дальнейшего преследования. Обливаясь потоками воды, победительница поднялась по лесенке; на мгновение она остановилась, приложив руку к груди: повидимому, ей не хватало дыхания. Затем, повернувшись в мою сторону и увидав меня у самого барьера, она торжествующе улыбнулась, сверкая зубами.

Яркое солнце и глубоко надвинутый капор мешали мне разглядеть ее лицо; только улыбка светилась насмешливо и ослепительно.

Я и сердился, и радовался в то же время: впервые после Берлина мне пришлось встретить заинтересованный взгляд женщины, — может быть, я снова стоял перед приключением? Несколькими толчками я доплыл до мужской купальни и быстро натянул одежду на влажное тело, торопясь предупредить ее выход из купальни. Десять минут мне пришлось ждать, прежде чем я заметил тонкую, мальчишескую фигурку моей надменной соперницы; увидав меня, она ускорила свои легкие шаги, с очевидным намерением лишить меня возможности заговорить с ней. Ее движения были быстры и легки, как во время плавания; все члены подчинялись этому сильному, юношески тонкому, пожалуй, слишком тонкому телу: мне стоило немалого труда сравнить свои шаги с ее быстрой походкой, не привлекая к себе в то же время внимания прохожих. Наконец, это мне удалось: на перекрестке я ловко пересек ей путь, по студенческому обычаю высоко поднял шляпу и, еще не взглянув прямо ей в лицо, спросил, не разрешит ли она мне проводить ее. Искоса она бросила на меня насмешливый взгляд и, не умеря быстрого темпа своих шагов, с почти вызывающей иронией ответила: — Пожалуйста, если вас не смущает мой быстрый шаг. Я очень спешу. — Ее невозмутимость ободрила меня, я становился навязчивее, предложил десяток вопросов, один глупее другого, на которые она отвечала с полной готовностью и с такой поразительной смелостью, что я почувствовал скорее смущение; чем уверенность в успехе: мой берлинский репертуар обращений был рассчитан на иронию и сопротивление, а вовсе не на такой откровенный разговор во время быстрой ходьбы. И опять я почувствовал,

что неловко и глупо подошел к противнику, оказавшемуся и в этой борьбе более сильным.

Дальше дело пошло еще хуже. Когда, в своей нескромной назойливости, я спросил ее, где она живет, на меня обратился пронзительный взгляд ее карих глаз, и, уже не скрывая улыбки, она насмешливо ответила: — В непосредственном соседстве с вами. — Пораженный, я остолбенел. Она еще раз искоса взглянула на меня, чтобы убедиться в том, что парфянская стрела попала в цель. И действительно, она застряла у меня в горле. Сразу, оборвался наглый тон моих берлинских приключений; неуверенно, даже больше — почтительно, я пробормотал вопрос, не неприятно ли ей мое общество. — Но почему же, — улыбнулась она снова, — нам осталось еще всего два квартала, мы можем пробежать их вместе. — Кровь бросилась мне в голову, я еле двигался, но что оставалось делать? Улизнуть было бы еще позорнее. И мы вместе подошли к дому, где я жил. Она внезапно остановилась, протянула мне руку и совсем просто сказала: — Спасибо за компанию. Вы ведь будете сегодня в шесть часов у моего мужа?

Яркая краска разлилась по моему лицу; но, раньше чем я успел попросить прощения, она быстро поднялась по лестнице; оставшись один, я едва решался восстановить в памяти свои глупые и наглые речи. Будто какую-нибудь портнишку, я, безрассудный фанфарон, пригласил ее на воскресную прогулку, пошлыми словами восхваляя ее тело, завел сентиментальную волюнку об одиноком студенте... Мне стало тошно от стыда и отвращения. А она, помирая со смеху, верно, уже рассказывает о моих пошлостях своему мужу — человеку, мнением которого я дорожил больше всего на свете; стать в его глазах посмешищем было бы для меня мучительнее, чем быть наказанным розгами на базарной площади.

Ужасные часы провел я в ожидании вечера. Тысячу раз я представлял себе тонкую, ироническую улыбку, которой он меня встретит, — я отлично знал, как искусно он владеет язвительным словом, как больно может обжечь его шутка. Как осужденный подымается на эшафот, так подымался я в тот вечер по лестнице, и едва я перешагнул порог его кабинета, подавляя подступавшее к горлу сухое рыдание, как замешательство мое превзошло всякую меру: мне послышалось в соседней комнате шуршанье женского платья: это она, моя надменная победительница, пришла позабавиться моим смущением, насладиться позором болтливой мальчишки. Наконец, пришел мой учитель. — Что с вами? — спросил он озабоченно, — вы сегодня так бледны. — Я робко возразил в ожидании удара. Но то, чего я так боялся, не случилось: он говорил, как всегда, на научные темы; ни в одном слове, как я ни прислушивался, не скрывалось намека или иронии. И, сперва с изумлением, а затем с безграничной радостью, я понял: она не выдала меня.

В восемь часов опять постучали в дверь. Я простился. Я вновь обрел душевный покой. Когда я выходил, она прошла мимо. Я поклонился, — она ответила едва заметной улыбкой. И в глубоком волнении я истолковал эту улыбку, как обещание молчать также и в дальнейшем.

* *
*

С этой минуты для меня начался новый ряд наблюдений: до сих пор, в своем юношески благоговейном обожании, я привык считать своего учителя до такой степени существом другого мира, что не обращал внимания на его частную, его земную жизнь. В своем увлечении я вознес его высоко над нашим миром с его методически установленным будничным порядком. Подобно тому, как юноша,

переживающий первую любовь, не осмелится в своих помыслах обнажить любимую девушку и смотреть на нее так же, как на тысячу других существ, одетых в женское платье, так и я не решился бросить нескромный взгляд на его частную жизнь: он казался мне отрешенным от всего вещественного, обыденного, апостолом слова, вместилищем творческого духа. Когда это трагикомическое приключение внезапно столкнуло меня с его женой, я уже не мог не замечать его интимной, его домашней жизни; так — в сущности, против моего желания — во мне пробудилось тревожно насторожившееся любопытство. И как только я стал зорко всматриваться, я сейчас же со смущением почувствовал, что жизнь его в собственном доме была полна своеобразной, почти пугающей загадочности. Когда, вскоре после этой встречи, я был впервые приглашен к столу и увидел его в обществе жены, у меня создалось впечатление какой-то причудливой совместной жизни, и чем глубже я проникал в его домашнюю обстановку, тем больше смущало меня это чувство. Не то чтобы в словах или в жестах проявлялась какая-нибудь напряженность или рознь: напротив, было полное отсутствие всякого напряжения; ни обоюдного влечения, ни взаимного отталкивания не чувствовалось между ними; полное затишье чувства и даже слова таинственно облекало их непроницаемой дымкой.

Иногда я с трудом узнавал его — до того уравновешенно холодна становилась его речь всякий раз, как нарушалось наше уединение, и, чем чаще, чем ближе приходилось мне встречаться с ним, тем больше тревожила меня его удивительная замкнутость — именно в домашнем кругу: именно здесь она застывала, скрывая под упругой мускульной оболочкой жизненное ядро.

Больше всего пугало меня полное его одиночество. Этот общительный, экспансивный человек не имел друга.

С университетскими товарищами он был корректен — не более, ни у кого в гостях он не бывал; часто он целыми неделями не выходил из дому никуда, кроме университета, находившегося в двадцати шагах от его квартиры. Все он глухо таил в себе, не доверяясь ни людям, ни бумаге. И теперь я понял эти словесные извержения, этот фанатический подъем его речей в кругу студентов: здесь прорывалась сквозь плотину его общительность; мысли, которые он, молча, носил в себе, бурно, неуверенно срывали запоры молчания и неслись в этой бешеной скачке слов.

Дома он говорил очень редко, меньше всего со своей женой. И с робким, почти стыдливым изумлением, я, неопытный мальчик, заметил, что здесь между двумя существами лежала тень от какой-то постоянно развевающейся, невидимой, но плотной ткани, безвозвратно разделившей этих людей; и впервые я понял, сколько тайн, непроницаемых для постороннего взора, скрывает брак. Жена никогда не входила в его кабинет без особого приглашения, как будто на пороге была начертана магическая пентаграмма, — и это подчеркивало ее полную отчужденность от его духовного мира. И мой учитель никогда не позволял в ее присутствии говорить об его планах, его работах. Резкость, с которой он на полуслове обрывал фразу, едва она входила, положительно угнетала меня. Что-то оскорбительное, почти откровенное презрение, неприкрытое даже какой-либо формой вежливого умолчания, было в его манере, когда он резко и открыто отклонял ее участие, — но она будто не замечала этого или уже привыкла к такому обращению. Стройная, цветущая, с задорным, мальчишеским лицом, легко и быстро она носилась вверх и вниз по лестнице; всегда у нее было много работы и вместе с тем достаточно досуга; она посе-

щала театр, занималась чуть ли не всеми видами спорта, — только к книгам, к спокойной кабинетной работе, ко всему замкнутому, сосредоточенному не было ни малейшего влечения у этой тридцатипятилетней женщины. Казалось, она чувствовала себя хорошо только тогда, когда, напевая, смеясь и шутя, она могла дать волю своему телу в танце, плавании, беге. Со мной она никогда не говорила серьезно: она поддразнивала меня, будто мальчика, и задорно вызывала на состязание. Ее резвый, детский, добродушный, жизнерадостный нрав стоял в таком разительном противоречии с мрачным, замкнутым, проникнутым только духовными интересами складом жизни моего учителя, что я со все возрастающим изумлением спрашивал себя, что могло связывать в прошлом эти столь чуждые друг другу натуры. Надо сознаться, что я извлекал пользу из этого удивительного контраста: когда, после нервной работы, я вступал с ней в разговор, мне казалось, что с моей головы снят тяжелый шлем; мои мысли освобождались от восторженного пыла, и все вещи принимали свою обычную окраску.

Веселая жизненная общительность настойчиво предьявляла свои права, и смех, о котором я совершенно забывал в напряженном общении с ним, благотворно разряжал мощное давление интеллектуального мира. Между нами установились товарищеские отношения; именно потому, что мы болтали только о безразличных вещах или вместе ходили в театр, наши встречи были лишены всякой напряженности. Одно только нарушало иногда полную непринужденность наших разговоров, каждый раз смущая меня: это — упоминание его имени. Она неизменно противопоставляла моему вопрошающему любопытству раздраженное молчание, моему энтузиазму — непонятную, скрытую улыбку. Но неизменно оставались замкнуты ее

уста: в других формах, но с той же решительностью она исключала этого человека из своей жизни. И все же, вот уже пятнадцать лет, они жили под одной, скрывавшей тайну, кровлей.

Но чем непроницаемее становилась тайна, тем больший соблазн открывался моему кипучему нетерпению. Какая-то тень, какое-то покрывало чувствовалось в непосредственной близости: оно колебалось при каждом дуновении слова; нередко мне казалось, что я уже прикасаюсь к нему, но каждый раз эта запутанная сеть ускользала из моих рук, чтобы через минуту опять окутать меня; никогда она не облекалась в слово, никогда не принимала осязаемой формы. Ничто не способно в большей степени возбудить воображение молодого человека, чем щекочущая нервы игра предположений: обычно блуждающее бесцельно воображение внезапно находит цель и трепещет от неизведанного наслаждения охотничьего преследования. Совершенно новые чувства возникали в те дни у наивного мальчика: тонкая, восприимчивая мембрана предательски подслушивала каждую модуляцию голоса; ищущий, высматривающий, полный подозрения взор посиневших глаз; выслеживающее любопытство, стремящееся проникнуть в окружающую мглу; болезненное напряжение нервов, постоянно возбуждаемое подозрениями и никогда не разрешающееся в ясном чувстве.

Но я не порицаю свое безудержное любопытство: помыслы мои были чисты. Охватившее меня возбуждение происходило не из праздной пошлости, которая коварно ловит неизменно-человеческое в превосходящем других существе; нет, наоборот, — это был затаенный страх, еще не определившееся сострадание, которое с неосознанной тоской угадывало боль в этом молчании. Чем ближе я подходил к его жизни, тем чувствительнее угнетала меня

ть, пластически запечатленная на лице возлюбленного учителя, — та благородная, благородно подавляемая печаль, которая никогда не разменивала себя ни на угрюмое брюзжание, ни на вспышки беспричинного гнева. Если он с первой минуты привлек меня, еще чужого, вулканически вспыхивающим огнем своей речи, то теперь он еще глубже волновал меня, ставшего родным, — своим молчанием, неотступно сопровождающим его облаком печали. Ничто не захватывает так мощно юношеское чувство, как возвышенная, мужественная омраченность. «Мыслитель» Микель Анджело, созерцающий свои собственные глубины, сжатые горечью губы Бетховена, — эти магические личины мировой скорби трогают незрелую душу сильнее, чем серебристые мелодии Моцарта и свет, разливающийся вокруг фигур Леонардо. Юность сама прекрасна и потому не нуждается в художественном преобразении: в избытке сил она стремится к трагическому и охотно позволяет тоске глубокими глотками насладиться ее неопытной кровью: отсюда и свойственная юности отвага и братское сочувствие всякому нравственному страданию.

И такой, поистине страждущий лик я встретил впервые. Сын маленьких людей, выросший в спокойной обстановке мещанского уюта, я знал тревогу только в смешных гримасах повседневной жизни, наряженную в злость или в желтое одеяние зависти, бренчащую мелкой монетой, — но тревога, напечатленная на этом лице, родилась — я это чувствовал — из высшей стихии. Она поднялась из мрачных глубин; изнутри начертал жестокий резец эти складки на преждевременно одряхлевших щеках. Случалось, что, входя в его комнату, всегда с робостью ребенка, приближающегося к дому, в котором обитают духи, я заставал его в глубокой задумчивости, мешавшей ему

услышать мой стук; и когда я, не зная, что мне делать, стоял перед погруженным в свои мысли учителем, мне казалось, что здесь сидит только Вагнер — телесная оболочка в плаще Фауста, — в то время как дух витает в загадочных ущельях, среди ужасов Вальпургиевых почей. В такие мгновения его внешние чувства были поражены. Он не слышал ни приближающихся шагов, ни робкого приветствия. Придя в себя, он пытался торопливыми словами прикрыть смущение: он ходил взад и вперед, старался вопросами отвлечь внимательно устремленный на него взгляд. Но долго еще витала тень над его челом, и только вспыхнувшая беседа разгоняла надвинувшиеся тучи.

Должно быть, он чувствовал иногда, как трогал меня его вид, — по моим глазам, быть может, по беспокойному блужданию моих рук; может быть, он подозревал, что на моих устах неслышно дрожала просьба довериться мне, читал в моем напряжении страстное желание принять на себя, впитать в себя его муку. Должно быть, он чувствовал это иногда: внезапно он прерывал живую беседу и, растроганный, смотрел на меня, — да, я чувствовал, как разливался по мне этот удивительно согревающий, затемненный своей полнотой взгляд. Он брал мою руку, держал ее в своей тревожно долго, — и я думал: «Вот теперь, теперь он раскроет мне душу». Но он разрушал эту надежду резким движением, иногда даже холодным, нарочито отрезвляющим ироническим словом. Он, живший энтузиазмом, пробудивший и питавший его во мне, — внезапно вычеркивал его, как ошибку в переводе, и, видя меня с открытой душой, алчущим его доверия, произносил леденящие слова: «Этого вам не понять» или: «Оставьте преувеличения» — слова, раздражавшие и приводившие меня в отчаяние. Как он заставлял меня страдать, этот сверкающий, подобно молнии, яркий, бросающийся из пламени в ледяную

стужу человек, который невольно согревал меня, чтобы через минуту обдать холодом, который притягивал меня всеми нитями страсти, чтобы тотчас же взмахнуть бичом иронии! Мною овладело жестокое чувство: чем больше я стремился к нему, тем резче, тем тревожнее он отталкивал меня. Ничто не могло, ничто не должно было коснуться его тайны.

Тайна, — все жарче жгла меня эта мысль, — тайна, вызывавшая страх и отчуждение, обитала в его магически притягивающих глубинах. Я это чувствовал в его странно избегающем встречи взгляде, который пламенно устремлялся вперед и робко ускользал в ту минуту, когда хотелось благоговейно удержать его; я это чувствовал по горько сжатым губам его жены, по изумительно холодной сдержанности окружающих, которых чуть ли не оскорбляли мои восторженные отзывы о нем, по тысяче странностей и всеобщему смущению, возникавшему всякий раз, как о нем заговаривали. Что за мука проникнуть во внутренний круг такой жизни и блуждать в нем, как в лабиринте, не находя пути к его центру!

Но самым непонятным, самым волнующим были его исчезновения. В один прекрасный день, придя на лекцию, я увидал на дверях записку, извещавшую, что лекции прерваны на два дня. У студентов это, казалось, не вызвало удивления, но я, видав его еще вчера вечером, поспешил домой с тревожным вопросом, не заболел ли он. Мое взволнованное вторжение вызвало у его жены только сухую улыбку. — Это случается часто, — сказала она необычайно холодно, — вам это еще незнакомо. — И действительно, я узнал от товарищей, что он нередко исчезал таким образом ночью, иногда только телеграммой извещая об отмене лекции. Кто-то из студентов встретил его однажды в четыре часа ночи на одной из берлинских

улиц, другой встретился с ним в подъезде. Он внезапно вылетал, как пробка из бутылки, и затем возвращался неведомо откуда.

Этот внезапный побег болезненно взволновал меня. Два дня я провел, как помешанный, не находя себе места; бессмысленными, пустыми казались мне занятия в его отсутствии; я изнывал от смутных, ревнивых подозрений, даже чувство ненависти и злобы против его замкнутости подымалось во мне временами: в ответ на мое пламенное стремление к нему он изгоняет меня из своего внутреннего мира, как нищего в стужу. Напрасно я убеждал себя, что я, мальчик, ученик, не имею права посягать на эту чужую, ставшую мне родной жизнь; что я должен принять, как милость, уже то, что он приблизил меня к себе. Но разум не восторжествовал над жгучей страстью: раз десять в течение дня я, глухой мальчишка, справлялся, не приехал ли он, пока, наконец, не почувствовал в ответах его жены все возраставшее раздражение. Я бодрствовал значительную часть ночи, прислушиваясь к шагам по лестнице, утром подкрадывался к двери, уже не осмеливаясь спрашивать. И когда, на третий день, он, наконец, неожиданно вошел ко мне в комнату, я едва не вскрикнул. Мой испуг был неумеренно очевиден, — об этом свидетельствовало его удивленное смущение, диктовавшее ему ряд торопливых вопросов, один безразличнее другого. Его взгляд избегал меня. В первый раз наш разговор шел вкривь и вкось, вызывая обоюдное смущение. Когда он ушел, жгучее любопытство вспыхнуло ярким пламенем; постепенно оно лишило меня сна и покоя.

* * *

Неделями длилась эта борьба за откровенность; упрямо я стремился вскрыть огненное ядро, которое вулканически

прорывалось время от времени сквозь скалу молчания. Наконец, в счастливый час, мне удалось впервые заглянуть в его внутренний мир. Я сидел как-то в сумерках в его комнате. Он достал сонеты Шекспира и читал мне в своем переводе эти будто из бронзы вылитые стихи, чтобы тотчас же магически расшифровать и осветить их кажущуюся непроницаемость. Слушая его, я испытывал восторг, смешанный с горечью сожаления о том, что дары, так щедро рассыпаемые этим человеком в избытке творческих сил, гибнут, воплощаясь только в преходящем звуке живой речи. И, неожиданно для себя самого, я вдруг нашел в себе мужество спросить его, почему остался незаконченным его большой труд о театре «Глобус». Но едва я успел произнести этот вопрос, как уже испугался, поняв, что невольно коснулся неосторожной рукой наболевшей раны. Он встал, отвернулся и долго молчал. Комната как будто погрузилась в сумрак и безмолвие. Наконец, он приблизился ко мне, серьезно взглянул на меня, и губы его вздрогнули несколько раз, прежде чем он вымолвил горькое признание:

— Я не способен создать большое произведение. С этим покончено. Только юность строит смелые воздушные замки. Теперь у меня уже нет той выдержки. Я стал — к чему скрывать? — человеком мгновения. Большой работы я бы не дотянул до конца. Прежде у меня было больше сил, но они ушли. Теперь я могу только говорить: только слово иногда еще окрыляет меня, возносит меня над самим собой. Но спокойно сидеть и работать, всегда наедине с собой, с одним собой, — это мне уже не удастся.

Он закончил жестом отречения, который потряс меня до глубины души. Я убеждал его твердой рукой собрать воедино сокровища, которые он так щедро расточает перед нами, и воплотить их в непреходящую форму.

— Я не в силах писать, — устало повторял он, — я не могу сосредоточиться.

— Так диктуйте! — и, увлеченный этой мыслью, я почти умолял его. — Диктуйте мне. Попробуйте, только начните, и — вы увидите сами — вы не оторветесь. Попробуйте, сделайте это ради меня!

Он взглянул на меня сперва с изумлением, потом с глубоким волнением. Эта мысль, казалось, привлекла его внимание.

— Ради вас? — повторил он. — Вы полагаете, что это могло бы доставить кому-нибудь удовольствие, если бы я, старик, взялся за такую работу?

Я почувствовал в его словах робкую уступку. В его проясненном взгляде, еще за минуту как бы скрытом от меня за облаком, я прочитал пробуждающую надежду.

— Вы действительно думаете, что это возможно? — повторил он.

Я почувствовал, что робкая надежда перерождается в волевой акт, — и вот он встрепенулся:

— Хорошо, попробуем! Молодость всегда права. Умно поступает тот, кто ей покоряется.

Мой бурный восторг, казалось, оживил его: почти с юношеским возбуждением он быстрыми шагами ходил взад и вперед, и мы переговорили обо всем: мы условились, что каждый вечер, в девять часов, сейчас же после ужина, мы будем заниматься — на первое время по часу в день. И на следующий вечер мы начали.

Эти часы, — как мне описать их блаженство! Весь день я поджидал их. Уже после обеда предгрозовая тревога овладевала всеми моими чувствами; я весь был наполнен нетерпеливым ожиданием вечера. Тотчас после ужина мы отправлялись в его кабинет. Я садился за письменный стол, спиной к нему, а он нервными шагами ходил по

комнате взад и вперед, пока в нем не устанавливался определенный ритм, — и вот прозвучала первая нота возвышенной речи. Все у этого изумительного человека оформлялось музыкальным чувством: ему нужен был размах для полета мысли. Большею частью он находил его в каком-нибудь образе, смелой метафоре, пластической ситуации, которую он, невольно возбуждаясь быстрым движением, преобразовывал в драматическое действие. Что-то величественно стихийное, что отмечает всякое творчество, блистало в стремительном потоке этой импровизации: отдельные отрывки его речи напоминали ямбические строфы, другие, гремя водопадом великолепных перечислений, вызывали в памяти Гомеровский список кораблей и неистовые гимны Уота Уитмэна. Впервые мне, еще не сложившемуся юноше, пришлось заглянуть в тайники творчества: я видел, как мысль, вдруг зашипев будто колокольная медь, выливалась чистой, расплавленной, горячей из котла творческого возбуждения; как, постепенно охлаждаясь, она приобретала форму; как эта форма округлялась и раскрывалась, пока, наконец, не ударит из нее, подобно звуку колокола, мощное слово, воплощая поэтическое переживание в символы человеческого языка. Так рождался каждый абзац из ритма, каждая глава из драматически преображенной картины, а все широко задуманное сочинение, так мало напоминавшее обычную форму филологического трактата, выливалось в гимн — в гимн морю, как видимой человеческим оком, осязаемой человеческим чувством форме беспредельности, катящей свои волны в безграничную даль, вздымающейся на вершины и скрывающей глубины, видимо бесцельно и в то же время с какой-то скрытой закономерностью, играющей человеческими судьбами, как утлыми челнами; оно было образом моря и, как оно, отзвуком всего трагического. И катятся эти творческие волны

к берегам одной единственной страны: вырастает Англия, остров, со всех сторон окруженный бурной стихией, грозно обнимающей все полосы земли, все широты земного шара. Там, в Англии, оно созидает государство. Из орбит стеклянных глаз — серых, голубых — смотрит холодный и ясный взор стихии; каждый обитатель этой страны, подобно ей, носит в себе стихию моря, как бы образуя остров. Бури и опасности воспитали здесь племя, которому присущи сильные, бурные страсти, — племя викингов, которое столетиями закаляло свои силы в разбойничьих набегах. Но мир воцарился в окруженной бушующими водами стране; они же, привыкшие к бурям, жаждут борьбы, приключений, моря с его постоянными опасностями, — и вот они создают себе жгучее напряжение в кровавой игре. Раньше всего воздвигается арена для звериной травли и для борьбы. Медведи истекают кровью, петушиные бои дразнят животное сладострастие ужаса. Но уже вскоре развившийся дух предъявляет новые требования: ему нужно то же напряженное возбуждение, но в иных, соответствующих современности формах. И вот, из религиозных зрелищ, из церковных мистерий вновь возникает бурная игра, возврат к прежним набегам и приключениям, но уже в глубинах человеческого сердца. Здесь открывается другая беспредельность, другое море, с приливами страстей и водоворотами духа. И с новым наслаждением бросаются в это море с его опасностями позднее, но все еще неутомимые потомки англо-саксов.

И мощно зазвучало творческое слово, когда он углубился в это варварски нечеловеческое начало. Его голос, сперва тихий, торопливый, теперь, напрягая голосовые мускулы и связки, напоминал сверкающий металлом летательный аппарат, который подымался все выше, все свободнее; комната становилась тесна для него, его теснили

отвечавшие отзвуком стены, ему нужен был простор. Я чувствовал ревущий ураган над своей головой, бушующий говор моря. Мощно гремело слово; склонившись над письменным столом, я видел себя на песках моей родины, я слышал грохочущий плеск тысячи волн и дыхание приближающегося вихря. Весь трепет, болезненно окутывающий рождение слова так же, как и рождение человека, впервые проник тогда в мою изумленную, испуганную и все же ликующую душу.

Мой учитель кончает. Я встаю, шатаюсь. Жгучая усталость всей силой обрушивается на меня, — усталость, непохожая на ту, которую испытывал он: он освободился от давившей его тяжести, а я впитал в себя покинувшее его напряжение и весь еще дрожал от испытанного восторга. Мы оба нуждаемся в спокойной беседе, чтобы обрести сон. Потом я еще расшифровываю стенограмму; и странно: как только знаки превращались в слова, мое дыхание, мой голос изменялись, будто в меня вселилось другое существо. И я узнал его: повторяя, я невольно скандировал речь, подражая его речи, будто он говорил во мне, а не я сам, — настолько я стал его отражением, эхом его слов.

С тех пор прошло сорок лет. Но еще теперь, посреди лекции, когда моя речь увлекает меня и как бы парит вне меня, я вдруг смущаюсь от мысли, что это не я, а кто-то другой говорит моими устами. Я узнаю незабвенный голос давно ушедшего человека, который и в смерти дышит моим дыханием. Всякий раз как я испытываю вдохновение, я знаю: я — это он; те часы запечатлелись во мне навеки.

* * *

Работа росла и разрасталась вокруг меня, как лес, заслоняя меня от внешнего мира; моя жизнь протекала

в полумраке этого дома, среди буйно шумевших ветвей быстро выраставшего сочинения, в пленительной, согревающей близости к этому человеку. За исключением нескольких лекционных часов, которые я проводил в университете, все мое время принадлежало ему. У них я обедал и ужинал; ни днем, ни ночью не прерывалось сообщение между моей комнатой и их квартирой; у меня был ключ от их входной двери, у него ключ от моей, так что он мог во всякое время войти ко мне, не вызывая полуглухую старуху. Но чем теснее становилось наше общение, тем больше я отрывался от всякого другого общества; вместе с теплотой внутреннего круга этой жизни я должен был испытать и ледяной холод его замкнутости и отчужденности от внешнего мира. В отношении ко мне товарищей я ощущал какое-то единодушное осуждение, даже презрение: была ли это зависть, вызванная предпочтением, какое явно оказывал мне учитель, или руководили ими какие-либо другие побуждения, но они решительно исключили меня из своего круга; в семинарских занятиях они, будто сговорившись, избегали обмена мнений со мною, более того — не устаивали меня взглядом. Даже профессора не скрывали своего нерасположения ко мне: однажды, когда я обратился за какой-то справкой к доценту по романской филологии, он иронически заметил:

— Как друг профессора NN, вы должны бы это знать.

Тщетно я старался объяснить себе такое незаслуженное презрение: тот особый тон, которым со мной говорили, тот взгляд, которым на меня смотрели, лишал всякой надежды найти ключ к разгадке. Вступив в близкое общение с этой одинокой четой, я разделял с ними их одиночество.

Эта отчужденность мало меня беспокоила: внимание мое было всецело поглощено умственными интересами,

но нервы не выдерживали постоянного напряжения. Нельзя безнаказанно в течение нескольких недель непрерывно предаваться умственным излишествам; кроме того, я, вероятно, слишком резко изменил свой образ жизни, слишком бурно бросился из одной крайности в другую, чтобы сохранить необходимое равновесие. В то время как в Берлине мои бесцельные блуждания разряжали мускульную энергию, приключения с женщинами разрешали всякую тревогу, — здесь тропически давившая атмосфера этого дома вызывала такое обострение всех чувств, что я, как наэлектризованный, вздрагивал, как бы от непрерывно перемещавшегося во всем теле острия. Я лишился здорового, крепкого сна, — может быть, потому, что по ночам я, ради собственного удовольствия, переписывал продиктованное вечером, сгорая нетерпением как можно скорее преподнести учителю переписанные листки; кроме того, университет предъявлял свои требования; утомляло поспешное, лихорадочное чтение; но едва ли не больше всего возбуждали меня беседы с учителем: я подвергал спартанской дисциплине каждый нерв, чтобы ни на минуту не показаться безучастным. Пренебрежение к требованиям тела не могло долго оставаться безнаказанным. Не раз со мной случались обмороки — предостерегающие признаки расшатанного здоровья. Я не придавал им значения, но гипнотическая усталость увеличивалась, всякое чувство выражалось в неумеренно резких формах, и обнаженные нервы все глубже вонзали в меня острие, лишая сна и возбуждая упорно подавляемые, смутные мысли.

Жена моего учителя первая обратила внимание на угрожающее состояние моего здоровья. Не раз я замечал на себе ее обеспокоенный взгляд; преднамеренно она все чаще вставляла в мимолетные разговоры отрезвляющие замечания, в роде того, что нельзя в течение одного

семестра завоевать весь мир. Наконец, она выступила открыто.

— Теперь довольно,—решительно заявила она, вырывая у меня из рук грамматику, над которой я корпел в солнечный воскресный день.—Как может полный жизни молодой человек до такой степени стать рабом своего честолюбия? Не берите во всем пример с моего мужа: он стар, вы молоды, вы должны вести другой образ жизни.

В ее тоне всегда проскальзывала нотка презрения, когда ей случалось упомянуть о муже. Это огорчало меня и восстанавливало против нее, и в то же время меня трогало ее участие. Преднамеренно, я это чувствовал, может быть, из побуждений своего рода ревности,—она все больше старалась оградить меня от его чрезмерного влияния и охладить ироническим словом мое усердие; если мы засиживались по вечерам, она энергично стучала в дверь и, не вникая его гневному сопротивлению, заставляла прекратить работу.

— Он расстроит вам нервы, он в конце разрушит ваше здоровье,—сказала она однажды с озлоблением, заметив мое удрученное состояние.—Во что только он вас превратил за эти несколько недель! Я прямо не могу видеть, как вы грешите против себя. И при всем том...—она остановилась, не докончив фразу. Но губы его побледнели и задрожали от подавленного гнева.

И действительно, мой учитель затруднял мою задачу: чем усерднее я служил ему, тем безразличнее он относился к моему обожанию. Редко-редко он устаивал меня словом благодарности; когда я утром приносил ему переписанную за ночь работу, он уклончиво говорил сухим тоном:—Не следовало торопиться, это потерпело бы до вечера.—Бывало, со всей готовностью, только предложишь ему какую-нибудь услугу, как сейчас же, среди разго-

вора, губы его суживаются, и саркастическим словом он отстраняет мое предложение. Правда, замечая мое покорное отчаяние, он утешал меня, останавливая на мне свой теплый, обволакивающий взор, — но как редко это случалось, как редко! И эти внезапные смены тепла и холода, волнующей близости и злобного отталкивания привели в полное замешательство мое необузданное чувство, которое жаждало, — нет, я положительно не в состоянии определить, чего я жаждал, желал, требовал, к чему стремился, каких доказательств его участия ожидало мое восторженное обожание. Если страстное преклонение, хотя бы в самой чистой форме, направлено к женщине, оно бессознательно стремится к обладанию телом — к этому естественному символу самого тесного слияния. Но духовная страсть, привлекающая мужчину к мужчине, — какого выхода ищет она? Беспokoйно она бродит вокруг предмета обожания, давая вспышки экстаза и никогда не находя полного удовлетворения. Всегда она струится, и никогда не высыхает ее источник; никогда она не насыщается, потому что природа ее — духовность. Его близость всегда казалась мне недостаточно близкой, его присутствие — недостаточно насыщающим, его долгие беседы не утоляли неутолимой жажды, и даже тогда, когда исчезало всякое чувство отчужденности, я опасался, что следующая минута резким жестом раздробит эту столь желанную близость. Все снова и снова он смущал меня своим непостоянством. Не преувеличивая, я могу сказать, что в своей неумеренной раздражительности я был в состоянии натворить непростительных глупостей по самому ничтожному поводу: случалось, что равнодушным жестом он отстранит книгу, на которую я обратил его внимание; или вечером, когда, затаив дыхание, ощущая на своем плече его ласковую руку, я жадно ловлю каждое его

слово, — он вдруг резко оборвет разговор и скажет: — Ну, идите. Уже поздно. Спокойной ночи, — и эти мелочи могли отравить мне существование на часы и целые дни. Может быть, мое болезненно возбужденное чувство видело обиды там, где их не было и в помыслах, но разве помогают больной душе разумные доводы, когда наступил внутренний разлад? И это повторялось изо дня в день. Я страдал в его присутствии, я изнывал вдали от него, всегда разочарованный его близостью, всегда полный тревоги, смущенный всякой случайностью.

И странно: всякий раз как я чувствовал себя оскорбленным, я шел к его жене. Может быть, это было бессознательное влечение к человеку, который живет в той же таинственной атмосфере, страдает от той же безмолвной сдержанности; может быть, это была просто потребность поговорить с кем-нибудь и найти если не помощь, то, по крайней мере, сочувствие, — как бы то ни было, я шел к ней, будто к тайному союзнику. Обычно она высмеивала мою чувствительность или, пожимая плечами, холодно замечала, что давно бы пора привыкнуть к этим мучительным странностям. Иногда же она окидывала меня серьезным и, я бы сказал, удивленным взглядом и слушала меня молча, когда, охваченный отчаянием, я извергал поток судорожных слов, горьких упреков, подавленных рыданий; только губы ее вздрагивали, и, я чувствовал, она напрягает все силы, чтобы не сказать гневное или необдуманное слово. И у нее было, без сомнения, о чем поговорить; и она скрывала тайну, — может быть, ту же тайну, что и он; но в то время как он встречал мои посягательства резким отпором, она обычно шуткой прекращала дальнейшие разговоры по этому поводу.

Один только раз едва не сорвалось с ее уст долгожданное слово. Утром, принеся моему учителю продиктованное

накануне, я рассказал ему, в какой восторг привела меня одна из глав (это была характеристика Марло). И в пылу восхищения я прибавил, что никто, никто не сумел бы так мастерски нарисовать этот портрет. Закусив губу, он круто отвернулся, бросил листок на стол и презрительно пробормотал: — Не говорите глупостей! Разве вы имеете представление о том, что такое мастерство! — Этого резкого слова (поспешно надевая личина, чтобы скрыть нетерпеливую застенчивость) было достаточно, чтобы испортить мне день. И после обеда наедине с его женой я, в истерическом припадке схватив ее руки, забросал ее вопросами:

— Скажите мне, почему он меня так ненавидит? Почему он меня презирает? Что я ему сделал? Почему его раздражает каждое мое слово? Что мне делать? Помогите мне! Почему он меня не выносит? Скажите мне, я вас очень прошу!

И пристальный взгляд, в ответ на мой бурный порыв, коснулся моего лица.

— Он вас ненавидит? — и она расхохоталась сквозь зубы так зло, так пронзительно, что я невольно отшатнулся. — Ненавидит — вас? — повторила она и посмотрела мне прямо в глаза, полные смущения. Она наклонилась, приблизившись, ко мне, ее взоры становились постепенно мягче и мягче, в них засветилось страдание, и вдруг она (впервые) провела рукой по моим волосам. — Вы, право, еще дитя, глупое дитя, которое ничего не замечает, ничего не видит и ничего не знает. Но так все же лучше, а то вы бы стали еще беспокойнее. — И она быстро отвернулась.

Тщетно я искал успокоения: я будто попал в черный мешок тяжелого, полного ужасов сна и добивался пробуждения, выхода из таинственной сумятицы этих противоречивых чувств.

* *
*

Так прошло четыре месяца — месяцы непрерывного восхождения и духовного преобразования. Семестр бли-

зился к концу. С чувством тревоги я шел навстречу каникулам: я полюбил мое чистилище, и плоский, ограниченный быт родительского дома рисовался мне, как тяжелая ссылка. Втайне я уже замыслил написать родителям, что меня задерживает здесь серьезная работа; я уже придумывал ловкое сплетение отговорок и лжи, чтобы продлить эту цепь поглощавших меня переживаний. Но судьба уже распорядилась мною, и предуказаны были сроки и часы. И этот час надвигался, невидимый, как удар колокола, дремлющий в металлической массе: придет время, — и он призовет, сурово и негаданно, одних к труду, других к расставанию.

Как прекрасно, как предательски прекрасно начался этот роковой вечер! Я сидел с ними за столом. Окна были раскрыты, и сквозь затемненные рамы медленно вливалось сумеречное небо, сиявшее белыми облаками. Что-то мягкое, ясное, глубоко западающее в душу излучал их величественный отблеск. Спокойно, мирно текла беседа между мною и сидевшими за столом. Мой учитель молчал, но его безмолвие витало, точно сложив крылья, над нашей беседой. Украдкой я посмотрел на него: какая-то удивительная просветленность была в нем сегодня, какая-то особенная тревога, далекая от всякого смятения, — такая же, как в сиявших нам летних облаках. Время от времени он подымал свой бокал к свету, любуясь окраской, и, когда мой взор радостно ловил этот жест, он, слегка улыбаясь, подымал стакан, как бы приветствуя меня. Редко я видал его лицо таким ясным, редко бывали его движения так округлы и спокойны. Он сидел, сияющий, почти торжественный, как будто прислушиваясь к какой-то неслышной музыке или к невидимому разговору. Его губы, обычно дрожащие мелкими волнами, покоились мягко, как разрезанный плод; на его лбу, обращенном к окнам, отра-

жался мягкий свет, и он казался мне еще прекраснее, чем всегда. И странно и отраднo было видеть его таким умиротворенным: был ли это отблеск ясного летнего вечера, проникла ли благотворная мягкость воздуха в его душу, или изнутри исходил этот свет? Но, привыкнув читать в его лице, как в раскрытой книге, я чувствовал: какой-то кроткий дух милосердной рукой коснулся извилин и ран его сердца.

И поднялся он так же торжественно, кивком головы приглашая меня в кабинет. Его привычная торопливость уступила место важной медлительности. Сделав несколько шагов, он вернулся обратно и — тоже необычная вещь — взял из шкапа нераскупоренную бутылку вина. Его жена, казалось, тоже заметила в нем что-то странное: подняв глаза от своей работы, она удивленно смотрела ему вслед, с любопытством наблюдая его непривычную торжественность.

Кабинет, по обыкновению совершенно темный, охватил нас своим уютным мраком; только лампа отбрасывала золотистый круг на белизну приготовленных на столе листков бумаги. Я занял свое место и повторил последние фразы из рукописи: их ритм служил для него как бы камертоном, определявшим дальнейшее течение речи. Но в то время как, обыкновению, непосредственно за последней прочитанной мною фразой звучала следующая, на этот раз звук оборвался. Тишина наполнила комнату и давила меня, как бы нависая со стен и создавая напряжение. Он как будто еще не собрался с мыслями, — я слышал за спиной его нервные шаги. — Прочтите еще раз, — непривычно задрожал его голос. Я повторил последний абзац. Не успел я произнести последнее слово, как он подхватил его и продолжал диктовать особенно быстро и сжато. В нескольких фразах выросла сцена. До сих пор

он развивал культурные предпосылки драмы: фрески того времени, отрывок истории. Теперь он сразу обратился к театру, который, отказавшись от бродяжничества, становится оседлым, создает себе постоянное жилище, приобретает права и привилегии: возникает «Театр Розы», потом «Фортуна» — деревянные балаганы для деревянных представлений. Но крепнет и мужает драматическая литература, — и вот мастера сколачивают для нее новую дощатую оболочку. На берегу Темзы, на сырой, болотистой почве вырастает грубое деревянное здание с неуклюжей шестиугольной башней — театр «Глобус», на сцене которого появляется великий мастер Шекспир. Будто выброшенный морскими волнами странный корабль, с красным разбойничьим флагом на мачте, стоит оно, бросив якорь и крепко врезавшись в прибрежный ил. В партере, будто в гавани, шумя, толпится чернь; с галлерей снисходительно улыбается и болтает с актерами высший свет. Публика нетерпеливо требует начала. И вот — до сих пор я помню его слова — закипела буря слов, забушевало безграничное море страстей, и с этих дощатых подмостков изливаются кровеносные волны в человеческие сердца всех времен, всех народов. Таков этот исконный прообраз человека — неисчерпаемый, неповторимый, веселый и трагический, полный разнообразия — театр Англии — шекспировская драма.

Его речь внезапно оборвалась. Наступило продолжительное тяжелое молчание. Обеспокоенный, я взглянул на него: мой учитель стоял, одной рукой судорожно опершись о стол в знакомой мне позе изнеможения, но на этот раз в его оцепенении было что-то пугающее. Я вскочил и с тревогой спросил его: не прекратить ли работу? Он только взглянул на меня, с трудом переводя дыхание, — взглянул пристально и неподвижно. Но вот засверкали

голубым светом зрачки его глаз, он приблизился ко мне и произнес: — И вы ничего не заметили? — Он пронизательно посмотрел на меня. — Что? — спросил я нетвердо. Он глубоко вздохнул и улыбнулся; за долгие месяцы впервые я вновь почувствовал его обволакивающий, мягкий взор: — Первая часть кончена.

Мне стоило труда подавить вопль радости, — так поразила меня волнующая неожиданность. Как только я мог не заметить! Да, это было законченное здание, стройная башня, возведенная на фундаменте прошлого и приводившая к порогу елизаветинской эпохи. Теперь они могут выступить, — и Марло, и Бен Джонсон, и Шекспир — их славный соперник! Его труд, наш труд праздновал свой первый день рождения. Поспешно я пересчитывал листки. Сто семьдесят убористо написанных страниц заключала эта первая, самая трудная часть: дальше должно было следовать свободное творчество, тогда как до сих пор изложение было связано историческими данными. Теперь уже нет сомнения, что он доведет до конца свой труд — наш труд!

Я не знаю, как выразилась моя радость, моя гордость, мое счастье. Но, должно быть, мой восторг вылился в экстатические формы; его улыбающийся взор сопутствовал мне, в то время как я метался, то пересчитывая последние слова, то поспешно считая листки, любовно ощупывая и взвешивая их, то погружаясь в вычисления, сколько времени потребуется для окончания всей работы. Его глубоко затаенная гордость любовалась своим отражением в моей радости: растроганный, он, улыбаясь, смотрел на меня. Медленно он подошел ко мне близко-близко, протянул мне обе руки и устремил на меня неподвижный взор. Постепенно его зрачки, обычно загорающиеся только на миг, наполнились одушевленной, ясной синевой, какую знают только две стихии — водные глубины и глубины

человеческого чувства. И эта сияющая синева, разливаясь из его глаз, постепенно наполнила и меня: я чувствовал, как ее теплая волна мягко вошла в меня и разлилась, вызвав неопишуемое чувство наслаждения; грудь ширилась от этой брызжущей, нежащей мощи, и луч полуденного солнца проник в мою душу. И сквозь этот блеск донесся ко мне его голос:

— Я знаю, что никогда не предпринял бы эту работу без вас; никогда я этого не забуду. Вы дали полет моим утомленным крыльям; вы собрали все, что осталось от моей утраченной, рассеявшейся жизни. Только вы! Никто не сделал для меня так много; никто, кроме вас, не протянул мне братскую руку помощи. И потому я благодарю не вас, а... тебя. Пойдем! Проведем этот час, как братья.

Он мягко привлек меня к столу и взял в руки приготовленную бутылку. Два бокала ожидали нас: в знак благодарности он по-братски разопьет со мной бутылку вина. Я дрожал от радости: ничто не волнует наши чувства так глубоко, как внезапное исполнение пламенного желания. Непреложный знак доверия, разрешивший мое бессознательное томление, в эту минуту благодарности нашел себе самую прекрасную форму: братское «ты», переброшенное через пропасть лет, и тем более драгоценное, чем неизмеримее было преодолеваемое им расстояние. Уже звенела бутылка в ожидании таинства, которое должно было окончательно утвердить в вере мое неуверенное чувство, и светлой радостью отдавался во мне этот ясный, дрожащий звон. Но наступлению торжественной минуты мешало маленькое препятствие: бутылка была закупорена, и не было штопора. Он хотел пойти за ним, но, угадывая его намерение, я поспешно кинулся в столовую, — я сгорал от нетерпеливого ожидания этой минуты окончательного успокоения моего все еще не верившего счастьем сердца.

Стремительно открыв дверь в темный коридор, я в темноте наткнулся на что-то мягкое, быстро подавшееся назад: это была жена моего учителя; очевидно, она подслушивала нас. Несмотря на сильный толчок, она не издала ни звука; молчал и я, в испуге не решаясь двинуться с места. Прошло мгновение: молча, сконфуженные, мы стояли друг перед другом; но вот в темноте послышались тихие шаги, сверкнул свет, и я увидел бледные, вызывающие черты прислонившейся спиной к шкапу женщины. Меня встретил серьезный взгляд ее глаз, и что-то мрачное, предостерегающее, злое было в этой неподвижной фигуре. Но она не проронила ни слова.

Мои руки дрожали, когда, после длительного, нервного, полуслеплого нащупывания, я, наконец, нашел штопор. Дважды я прошел мимо нее, и каждый раз я встречал ее неподвижный взгляд, блестящий жестко и мрачно, как полированное дерево. Ее упрямая поза не оставляла сомнения в том, что она твердо решила не покидать своего наблюдательного поста и продолжать недостойный шпионаж. И эта непоколебимость смутила меня: я невольно согнулся под этим упорным, предостерегающим, обращенным на меня взглядом. И когда, наконец, неверными шагами я вернулся в комнату, где мой учитель нетерпеливо держал в руках бутылку, безграничная радость, только что владевшая мною, обратилась в ледящую тревогу. А он—как беззаботно он поджидал меня, как приветливо встретил меня его взор! Как долго я мечтал увидеть его именно таким, безоблачным! А теперь, когда впервые он умиротворенно сиял передо мной, открыв для меня свое сердце,—я не мог произнести ни слова: будто сквозь невидимые поры испарилась вся моя затаенная радость. Какое-то ужасное подозрение закрадывалось в душу и сковывало меня. Смущенно, почти со стыдом я слушал слова

благодарности и братское «ты», сливавшееся со звоном бокалов. Дружески положив мне руку на плечо, он подвел меня к креслу. Мы сидели друг против друга; его рука покоилась в моей. Впервые он предстал передо мной с открытым сердцем. Но слова застредали у меня в горле: невольно мой взор обращался к двери, за которой, может быть, стоит она — и подслушивает. «Она подслушивает, — неотступно думал я, — она ловит каждое слово, обращенное ко мне, каждое слово, сказанное мною. Но почему, почему именно сегодня?» И когда он, обволакивая меня своим согревающим взглядом, вдруг сказал: — Сегодня я расскажу тебе о своей юности, — я умоляющим жестом отклонил его предложение. Испуг мой был так очевиден, что он с удивлением посмотрел на меня. — Не сегодня, — бормотал я, — не сегодня... простите! — Мысль, что он мог выдать себя той, о чьем присутствии я должен был молчать, приводила меня в ужас.

Мой учитель взглянул на меня неуверенно.

— Что с тобой? — спросил он, слегка огорченный.

— Я устал... простите... я слишком взволнован... — я поднялся, дрожа всем телом. — Я думаю, лучше мне уйти. — Невольно я посмотрел мимо него на дверь, за которой подозревал насторожившееся любопытство ревнивого соглядатая.

Он тоже поднялся. Тень проскользнула по его лицу.

— Ты в самом деле хочешь уйти? Именно сегодня? — Он держал мою руку, отяжелевшую от какого-то невидимого груза. Вдруг он резко выпустил ее, и она упала, как камень. — Жаль, — сказал он разочарованно, — мне так хотелось побеседовать с тобой откровенно! Жаль! — И глубокий вздох, как черная бабочка, пронесся по комнате. Я был полон стыда и непонятного страха. Неверными шагами я направился к двери и тихо закрыл ее за собой.

С трудом я добрался до своей комнаты и бросился на постель. Но я не мог уснуть. Никогда до сих пор я не ощущал в такой степени, что только тонкий, непроницаемый слой отделяет меня от их мира. И обостренным чутьем я знал, что и внизу тоже не спят; не глядя, я видел, не слушая—слышал, как он беспокойно ходит взад и вперед по своей комнате, в то время как она боязливо притаилась где-нибудь в столовой или, подслушивая, бродит безмолвным призраком. Но я чувствовал, что глаза их не смыкались, и их бессонница охватила и меня, навевая ужас; как кошмар, давил меня этот тяжелый безмолвный дом со своими тенями и мраком.

Я сбросил одеяло. Мои руки горели. Куда я попал? Я подошел вплотную к тайне, ее горячее дыхание уже почти коснулось моего лица, — и снова она ускользнула; но ее тень, ее молчаливая, непроницаемая тень с тихим шелестом блуждала вокруг меня; я чувствовал ее жуткое присутствие в доме; крадучись, как кошка, тихо ступая на мягких лапах, всегда она подстерегала меня, то приближаясь, то удаляясь, прикасаясь ко мне своей наэлектризованной шерстью, живая и все же призрачная. И в темноте мне все чудился его обволакивающий взгляд, мягкий, как его протянутая рука, и другой взгляд — пронзительный, угрожающий, испуганный взгляд его жены. Какое мне дело до их тайны? Почему я очутился с завязанными глазами посреди их бушующих страстей? Зачем толкали они меня в свой непонятный раздор и взвалили на мои плечи эту пылающую ношу гнева и ненависти?

Голова моя все еще горела. Я вскочил и открыл окно. Мирно покоится город под летними облаками. Еще светятся огни в окнах, там сидят люди—кто в дружеской

беседе, кто за книгой, кто наслаждаясь музыкой. И, конечно, спокойным сном спят там, где огонь уже погашен. Над крышами отдыхающих домов стелилась, как свет луны в серебристом тумане, мягко опустившаяся тишина и кроткий покой; и одиннадцать ударов башенных часов коснулись слуха всех бодрствующих и дремлющих. Только я один тревожно метался, ища выхода из злой осады чужих мыслей; лихорадочно стремилась душа разгадать этот волнующий шорох.

Но что это? Как будто шаги по лестнице? Я прислушиваюсь. И действительно, кто-то ощупью бродит в темноте, осторожными, нерешительными, нетвердыми шагами подымается по ступенькам. Мне был знаком этот жалобный стон протоптанной лестницы. Они направлялись ко мне—эти шаги: кроме меня, никто не жил в этой мансарде, не считая глухой старухи, которая давно уже спала и никого не принимала. Неужели мой учитель? Нет, это не его торопливая, нервная походка: эти шаги нерешительны; боязливо они останавливаются— вот опять!— на каждой ступеньке: так приближается вор, преступник, но не друг. Я прислушивался так напряженно, что у меня в ушах зазвенело. Дрожь пробежала по всему телу. Но вот щелкнул в замке ключ. Вот он уже у дверей, этот страшный гость. Легкое дуновение ветра коснулось моих голых ног,— значит, входная дверь открылась. Но ключ был только у него— у моего учителя. А если это он, то почему так нерешительно, будто чужой? Неужели он беспокоился, хотел посмотреть, что со мной? И почему он неподвижно остановился в передней?.. Умолкли приближавшиеся воровские шаги. Я остолбенел от ужаса. Мне хотелось крикнуть, но голос не повиновался мне. Я хотел отпереть, но ступни будто прилипли к полу. Только тонкая перегородка отделяла меня от страшного гостя. Но ни один из нас не делал ни шага.

Но вот раздался удар башенных часов: только один удар — четверть двенадцатого. И этот удар привел меня в чувство. Я раскрыл дверь.

И действительно, передо мной стоял мой учитель со свечой в руке. Ветерок, возникший от быстро распахнувшейся двери, заставил вздрогнуть голубое пламя, и за ним зашаталась, как пьяная, от стены к стене, выравшись из своего оцепенения, огромная, вздрагивающая тень. Но и он, увидев меня, сделал движение: он съежился, как человек, который проснулся от неожиданно коснувшейся его струи холодного воздуха и невольно натягивает на себя одеяло. Он подался назад: свеча, капающая, колебалась в его руке.

Я дрожал, испуганный почти до потери сознания.

— Что с вами? — с трудом пролепетал я.

Он посмотрел на меня, не говоря ни слова: ему что-то мешало говорить. Наконец, он поставил свечу на комод, и тень, носившаяся по комнате, как летучая мышь, успокоилась. Он попытался заговорить:

— Я хотел... я хотел... — бормотал он.

Голос опять оборвался. Он стоял, опустив глаза, как пойманный вор. Невыносимо было это чувство страха и этот столбняк, охвативший нас — меня, в одной рубашке, дрожавшего от холода, и его, ушедшего в себя, смущенного, пристыженного.

Вдруг он выпрямился во весь рост и подошел ко мне вплотную. Улыбка, злая улыбка фавна, сверкавшая где-то в глубине глаз (губы его были крепко сжаты), оскаливалась на меня, как незнакомая маска. И, подобно змеиному жалу, прорезал ее язвительный голос:

— Я хотел сказать вам... Оставьте лучше это «ты»... Это... это... не годится между учеником и учителем... понимаете... надо соблюдать дистанцию... да-с... дистанцию.

И он смотрел на меня с такой ненавистью, с такой

оскорбительной, бьющей по щекам отчужденностью, что его рука невольно сжималась в судороге. Я отшатнулся. Обезумел ли он? Был ли он пьян? Он стоял, сжав кулаки, как будто хотел броситься на меня или ударить меня по лицу.

Но этот ужас длился только один миг: уже через секунду убийственный взгляд погас. Он повернулся, пробормотал что-то в роде извинения и схватил свечу. Словно черный услужливый дьявол, поднялась придавленная к земле тень и заколебалась перед ним, направляясь к двери. И он вышел, прежде чем я успел собраться с мыслями и вымолвить слово. Дверь захлопнулась с сухим стуком, и лестница заскрипела, измученно и тяжело, под его равномерными шагами.

* * *

Никогда я не забуду этой ночи: холодный гнев переходил в беспомощное, жгучее отчаяние. Как ракеты, взрывались пронзительные мысли. «За что он терзает меня?» — тысячи раз мучительно вставал передо мной вопрос. — «За что он так ненавидит меня — настолько, чтобы ночью прокрасться по лестнице и с такой злобой бросить мне в лицо тяжелое оскорбление? Что я ему сделал? Что я должен сделать? Как примирить его с собой, не ведая, в чем моя вина?» Пылая, бросался я в постель, снова вскакивал и опять скрючивался под одеялом. Но ни на минуту не покидал меня этот призрак — мой учитель, робко подкрадывающийся и смущенный моим присутствием, а за ним, загадочно чужая, огромная, колеблющаяся на стене тень.

Проснувшись утром после тяжелого забытья, прежде всего я стал себя уговаривать, что я видел дурной сон. Но на комодѣ отчетливо виднелись круглые желтые пятна от стеариновой свечи. И посреди залитой солнцем комнаты ужасным воспоминанием стоял исподтишка подкравшийся, призрачный гость.

Все утро я просидел дома. Мысль о встрече с ним повергала меня в уныние. Я пробовал писать, читать, — ничего не удавалось. Мои нервы, как взрывчатое вещество, каждую минуту грозили взорваться в судорожном рыдании, в вое; мои пальцы дрожали, как листья на дереве, — я не был в состоянии их унять. Колени сгибались, как будто были перерезаны их сухожилия. Что делать? Что делать?

Я доводил себя до изнеможения неотступным вопросом: что все это могло означать? Но только не двигаться с места, не спускаться, не предстать перед ним, пока нервы не окрепнут, пока я не уверен в себе! Снова я бросился на постель, голодный, непричесанный, неумытый, расстроенный, и снова мысли пытались пробиться сквозь тонкую стенку: где он сидел теперь? что он делал? бодрствовал ли он, как я? переживал ли такую же пытку?

Настало время обеда, а я все еще бился в судорогах своего отчаяния, когда слышались, наконец, шаги по лестнице. Мои нервы забили в набат: но шаги были легкие, беззаботные, перескакивавшие через ступеньку. Раздался стук в дверь. Я вскочил, не открывая.

— Кто там? — спросил я.

— Почему вы не идете обедать? — ответил несколько раздосадованный голос его жены. — Вы больны?

— Нет, нет, — пробормотал я сконфуженно, — я сейчас приду. — Мне не оставалось ничего другого, как поспешно одеться и сойти вниз; но я должен был держаться за перила лестницы, — так у меня подкашивались ноги.

Я вошел в столовую. Перед одним из двух приборов сидела жена моего учителя и поздоровалась, посылая мне упрек, что приходится напоминать о времени обеда. Его место оставалось пустым. Я чувствовал, как кровь прилиwała к голове. Что означало его неожиданное отсутствие?

Неужели и он боялся встречи? Неужели он стеснялся меня, или он не хотел сидеть со мной за столом? Наконец, я решился спросить, не придет ли профессор.

Она удивленно посмотрела на меня:

— Разве вы не знаете, что он уехал сегодня утром?

— Уехал? — пробормотал я. — Куда?

В ее лице тотчас же появилось напряжение:

— Об этом мой супруг не довел до моего сведения; вероятно, в одну из своих обычных прогулок. — И вдруг, повернувшись ко мне, она резко спросила: — Но как же вы об этом не знаете? Ведь еще вчера ночью он подымался к вам. Я думала, он пошел проститься с вами. Странно, действительно, странно, что он и вам ничего об этом не сказал.

— Мне! — вырвался крик из моих уст. И с этим криком, к моему стыду, к моему позору, вырвалось все, что я пережил за последние часы. Я был уже не в силах сдерживаться: плач, неистовое судорожное рыдание, бешеный поток слов и криков, — все вылилось в один вопль безумного отчаяния, вырвавшийся из стесненной груди; я выплакал, — да, я сбросил с себя, утопил в истерических рыданиях всю подавленную муку. Я бил кулаками по столу, я бесился, как обезумевший ребенок; слезы ручьями текли по лицу, и в них разрядилась гроза, неделями томившая меня своей тяжестью. И вместе с облегчением этот бурный взрыв принес чувство безграничного стыда перед нею за свою откровенность.

— Что с вами! Ради бога! — она вскочила, растерявшись. Но затем она быстро подошла ко мне и отвела меня на диван. — Ложитесь. Успокойтесь. — Она гладила мне руку, проводила рукой по моим волосам, в то время как все мое тело еще содрогалось от последних рыданий.

— Не мучьте себя, Роланд, не позволяйте себя мучить. Мне все это знакомо, я все это предчувствовала. — Она все

еще гладила мои волосы. — Я сама знаю, как он может запутать человека, никто не знает этого лучше, чем я, — голос ее стал жестким. — Но, поверьте, мне всегда хотелось предостеречь вас, когда я видела, что вы всецело опираетесь на того, кто сам лишен опоры. Вы его не знаете, вы слепы, вы дитя, — вы ничего не подозревали до сегодняшнего дня, не подозреваете и сейчас. Или, может быть, сегодня у вас впервые открылись глаза, — тем лучше для него и для вас.

Она нежно наклонилась ко мне; ее слова доносились ко мне как будто из хрустальной глубины, и я чувствовал успокаивающее прикосновение ее рук. Отрадно было встретить, наконец, каплю сострадания, и не менее отрадно вновь почувствовать нежное касание жемской, почти материнской руки. Может быть, слишком долго я был лишен этого, и, когда теперь, сквозь вуаль скорби, я почувствовал нежную заботливость женщины, мне улыбнулся луч света в бездонном мраке охватившего меня горя. Но мне было стыдно, — как мне было стыдно этого предательского припадка, этого выставленного напоказ отчаяния! И, против моей воли, случилось так, что, едва собравшись с силами, я еще раз дал волю бурному негодованию, рассказывая, как он привлекает меня к себе, чтобы оттолкнуть через минуту, как он меня преследует, как он бывает суров со мной без всякого повода, — этот мучитель, к которому я все же так привязан, которого я, любя, ненавижу и, ненавидя, люблю. И снова охватило меня волнение, и снова я услышал слова успокоения, и нежные руки мягко усаживали меня на оттоманку, с которой я вскочил в пылу возбуждения. Наконец, я усмирился. Она в раздумьи молчала; я чувствовал, что она понимает все — и, может быть, больше, чем я сам.

В течение нескольких минут нас связывало молчание. Она поднялась первая: — Теперь будет, довольно вам быть

ребенком, опомнитесь: ведь вы мужчина. Садитесь к столу и кушайте. Ничего трагичного не произошло—недоразумение, которое должно разъясниться,—и, заметив мою безнадежность, она горячо прибавила:— Оно разъяснится, я больше не позволю ему завлекать и смущать вас. Этому должен быть положен конец: он должен, наконец, научиться немного владеть собой. Вы слишком хороши, чтобы стать предметом его приключений. Я с ним поговорю, положитесь на меня. А теперь пойдете к столу.

Пристыженный и безвольный, я вернулся к столу. Она говорила с какой-то поспешностью о безразличных вещах, и я был в душе благодарен ей за то, что она как будто не придавала значения моему неуместному взрыву и чуть ли уже не забыла о нем. Завтра воскресенье, говорила она, и она, с доцентом В. и его невестой, собирается на прогулку к соседнему озеру; я должен принять в ней участие, развлечься и забыть о занятиях. Мое тревожное самочувствие проистекает от утомления и нервного возбуждения: на воде или на прогулке по суше мое тело опять приобретет равновесие. Я обещал притти. На все я согласен, лишь бы не оставаться в одиночестве в своей комнате, со своими мятущимися во мраке мыслями!

— И сегодня после обеда нечего вам сидеть дома! Гуляйте, развлекайтесь, веселитесь! — настойчиво прибавила она.

«Как странно, — подумал я, — как она угадывает мои затаенные чувства, как она, чужая, всегда знает, что мне нужно, чего мне не хватает, в то время как он, зная меня так близко, ошибается во мне и угнетает меня.» И это я обещал ей. И, остановив на ней благодарный взгляд, я увидел совсем другое лицо: насмешливость, надменность, придававшая ей здоровый, веселый, мальчишеский вид, исчезли, и появилось в нем выражение мягкости

и участия: никогда я не видал ее такой взволнованной. «Почему он никогда не смотрит на меня так ласково? — страстным вопросом шевелилось во мне смутное чувство. — Почему он никогда не чувствует, что причиняет мне боль? Почему он ни разу не коснулся меня такой успокаивающей рукой?» Я благоговейно поцеловал ее руку, которую она поспешно отдернула.

— Не мучьте себя, — повторила она еще раз, и ее голос прозвучал возле самого моего уха.

Но снова вокруг ее губ залегла жесткая складка: резко поднявшись, она тихо проговорила:

— Поверьте мне: он этого не стоит.

И эта, еле слышно прозвучавшая фраза опять растревала едва затянувшуюся рану.

* * *

Все, что я делал в этот день и в этот вечер, до того смешно и ребячливо, что я долгое время стеснялся об этом вспоминать, и всякий раз как мысли мои останавливались на этих продиктованных страстью безумствах, так мало гармонизовавших с трагедией чувства, которую я переживал, какой-то внутренний запрет прогонял это воспоминание. Сегодня я не испытываю этого стыда — напротив, я глубоко понимаю этого необузданного, страстного юношу, каким я был тогда, эту глупо трогательную попытку побороть свою слабость.

Будто в противоположном конце необычайно длинного коридора, будто в телескоп я вижу растерянного, охваченного отчаянием юношу. Он подымается к себе наверх, не зная, что ему делать с собой. И вот он надевает скрутку, придает себе бодрую походку, извлекает из себя решительные, развязные жесты и быстрыми, твердыми шагами отправляется на улицу. Да, это я, я узнаю себя, я знаю

каждую мысль этого глупого, измученного мальчика. Я знаю; я выпрямился, стал перед зеркалом и сказал себе: «Чихать мне на него! Ну его к чорту! Чего я мучаюсь из-за этого старого дурака? Она права: надо веселиться, надо развлекаться! Вперед!»

И вот в таком настроении я вышел тогда на улицу. Это был порыв к освобождению, и в то же время — бегство, трусливый уход от сознания, что эта бодрость напускная и что ледяной ком, застыв, все так же неотступно, так же безысходно давит сердце. Я помню: я шагал, стискивая в руке тяжелую палку, бросая вызывающий взгляд каждому встречному студенту: во мне шевелилось опасное желание вступить с кем-нибудь в спор, дать выход съедавшей меня злости, выместить ее на первом встречном. Но, к моему огорчению, никто не обращал на меня внимания. Так я дошел до кафе, где обычно собирались мои товарищи по семинарию, с намерением без приглашения сесть за их стол и малейшее замечание использовать, как повод к вызову. Но и тут мое буйное настроение не нашло себе выхода: хороший день, вероятно, потянул многих за город, а двое-трое сидевших за столиком вежливо поклонились мне и не дали моему лихорадочному возбуждению ни малейшего повода к ссоре. Раздосадованный, я быстро сменил кафе на ресторан определенного пошиба, где подонки предместья веселились за кружкой пива, в клубах табачного дыма, под дребезжащие звуки женского хора. Я быстро опрокинул в себя две-три кружки пива, пригласил к себе за стол глупую, напудренную, толстую особу, выделяющуюся благодаря шраму на лбу, которым наградила ее пьяный матрос, и ее подругу — такую же намазанную, высохшую проститутку — и находил болезненную радость в том, чтобы вести себя как можно громче. В маленьком городе все знали меня, как ученика

профессора, и я испытывал обманчивое, мальчишеское удовлетворение от мысли, что компрометирую своего учителя: пусть они видят, думал я, что мне плевать на него, что я о нем не забочусь, — и я ущипнул эту толстую бабу в широкие бедра, так что она вскрикнула с громким хохотом. За этим опьянением неистовой яростью последовало настоящее опьянение алкоголем, так как мы пили все попеременно — и вино, и водку, и пиво; стулья падали от нашего гвалта, так что соседи предусмотрительно пересаживались подальше. Но я не испытывал стыда — напротив: «Пусть он об этом узнает, — повторял я себе в упрямом бешенстве, — пусть видит, как он мне безразличен; я несколько не опечален, не огорчен — напротив!» — Вина подайте, вина! — кричал я, стуча кулаками по столу так, что стаканы дрожали. В конце концов, я двинулся с обеими женщинами — одна по правую руку, другая по левую — через главную улицу, где в девять часов обычно встречались для мирных прогулок студенты и девицы, военные и штатские. Наш зыбкий, неопрятный трилистник шумно подвигался по мостовой, пока, наконец, не подошел к нам шуцман с энергичным требованием вести себя скромнее. Я не сумею в точности описать, что произошло потом, — густой, сивушный угар застилает мою память. Я знаю только, что с отвращением я откупился от этих двух пьяных баб, где-то еще выпил кофе и коньяк, перед зданием университета, к удовольствию сбежавшей молодежи, произнес филиппику против профессоров. Наконец, под влиянием глухого инстинкта, побуждавшего меня унижать себя все больше и больше и — безумная мысль безумно-страстного гнева! — тем выразить ему свое презрение, — я решил отправиться в публичный дом, но не нашел дороги и, наконец, тяжелыми шагами добрал до дому. Открыть ворота представило не малый

труд для моей худо повиновавшейся руки; с трудом я поднялся на первые ступеньки.

Но едва я дошел до его двери, как опьянение соскочило с меня, будто я окунулся головой в холодную воду. Отрезвившись, я вдруг увидел искаженную бессильным бешенством личину своего безумия. Стыд обуял меня. И совсем тихо, рабски покорно, как побитая собака, я прокрался, стараясь не быть замеченным, к себе в комнату.

*
*
*

Я спал, как убитый. Когда я проснулся, солнце заливало пол и подбиралось к постели. Я быстро вскочил. В затуманенной голове постепенно вставало воспоминание о вчерашнем вечере. Но я старался подавить подымавшееся чувство стыда; я больше не желал стыдиться. «Ведь это его вина, — уговаривал я себя, — только из-за него я так опустился.» Я успокаивал себя, что мои вчерашние похождения позволительны студенту, который в течение многих недель знал только работу, одну работу. Но я не чувствовал облегчения от этих оправданий и, угнетенный, я спустился к жене моего учителя, помня вчерашнее обещание отправиться вместе за город.

Странно: как только я прикоснулся к ручке его двери, я опять ощутил его в себе, и с его образом вернулась та же жгучая, безумная боль, то же дикое отчаяние. Я тихо постучал. Его жена встретила меня удивительно мягким взглядом:

— Какие глупости вы делаете, Роланд! — сказала она, скорее с сочувствием, чем с упреком. — Зачем вы мучите себя?

Я был ошеломлен: и она уже знает о моих глупых проделках. Но сейчас же она постаралась рассеять мое замешательство:

— Зато сегодня мы будем благоразумны. В десять часов придет доцент В. со своей невестой, мы поедем за город,

будем кататься на лодке, плавать и утопим все эти глупости.

— Я робко предложил совершенно излишний вопрос: — Приехал ли профессор? — Она посмотрела на меня не отвечая, — ведь знал же я, что вопрос напрасный.

Ровно в десять часов пришел доцент, молодой физик. Как еврей, он стоял в стороне от академического общества. Он, единственный, бывал у нас, живших так замкнуто. С ним пришла его невеста или, скорее, подруга, — молодая девушка, с уст которой не сходил смех, наивная, немного вульгарная, но приятная спутница для веселой прогулки. Прежде всего мы отправились по железной дороге, не переставая жевать, болтая и пересмеиваясь, к близлежащему маленькому озеру. Эти недели напряженной работы до такой степени отучили меня от веселой беседы, что уже этот первый час опьянил меня, как легкое, колющее язык вино. И в самом деле, им великолепно удалось ребяческими шалостями извлечь мою мысль из привычного, мрачно жужжащего улья, в котором она кружилась; и едва я, пустившись вперегонки с молодой девушкой, ощутил свои мускулы, как вернулась ко мне прежняя беззаботная молодость. У озера мы взяли две лодки. Жена моего учителя села у руля моей лодки, в другой разделили весла доцент и его подруга. И едва мы отчалили, как нас обуяла спортивная страсть. Мы устроили гонки. Я был в худшем положении, так как должен был грести один, в то время как мои соперники гребли вдвоем. Но, сняв пиджак, я так привалялся на весла, что, как опытный спортсмен, все время обгонял соседнюю лодку. Беспрерывно сыпались с той и с другой стороны подзадоривающие иронические замечания, и, не обращая внимания ни на сильную жару, ни на градом катившийся пот, мы, охваченные спортивным духом, работали, как каторжники на галерах. Но вот близка уже

цель — покрытая лесом узкая коса. Еще ожесточеннее мы взялись за дело, и, к удовольствию моей спутницы, не менее, чем я, увлеченной соревнованием, мы первые носом лодки врезались в прибрежный песок.

Я выпрыгнул из лодки, разгоряченный, опьяненный непривычным солнечным жаром, возбужденно текущей по жилам кровью и радостью победы: сердце колотилось в груди, одежда прилипла к потному телу. Доцент был в таком же состоянии, и наши дамы, вместо того, чтобы воздать хвалу нашему усердию, жестоко высмеивали наше сопенье и довольно плачевный вид. Но, наконец, они дали нам время остыть. Среди шуток и смеха были установлены два отделения для купанья — мужское и женское — справа и слева от кустарника. Мы быстро одели купальные костюмы, за кустарником засверкало белоснежное белье, голые руки и, пока мы еще собирались, обе женщины уже плескались в воде. Доцент, менее утомленный, чем я, победивший его в гонке, поспешил за ними. Я же, чувствуя, как сильно еще бьется сердце от слишком напряженной работы, уютно улегся в тени и смотрел, как тянулись надо мной облака; чувствуя сладкое томление во всех членах, я отдался полному отдыху.

Но через несколько минут донесся из воды голос: — Роланд, вперед! Состязание! Приз за победу! — Я не двинулся с места: мне казалось, что я могу пролежать так тысячу лет, предоставив тело горячим лучам солнца и прохладному дуновению мягкого ветерка. Но опять послышался смех, голос доцента: — Он бастует! Здорово мы его потрепали! Притащите лентяя! — И в самом деле, раздался приближающийся плеск, и вот уже совсем близко ее голос: — Роланд, идем! Состязаться! Мы им покажем! — Я не отвечал: мне доставляло удовольствие заставить себя искать. — Где же он? — Заскрипел щебень, я услышал шум босых ног, бе-

гущих по берегу, и вдруг она очутилась передо мной. Мокрый купальный костюм облегал мальчишески-стройную фигуру.— Вот вы где! Боже, какой лентяй! Но теперь живо, они уже почти на той стороне, у острова!— Я лежал на спине и лениво потягивался.— Здесь гораздо лучше. Я вас догоню. — Он не желает,— крикнула она, смеясь, складывая руки рупором по направлению к воде.— В воду хвастунишку!— прозвучал издали голос доцента.— Идемте,— нетерпеливо настаивала она, — не срамите меня. — Но я только лениво зевнул в ответ. Она, шутя и в то же время с досадой, сорвала с куста ветку. — Вперед! — сказала она энергично и ударила меня веткой. Я приподнялся: она слишком сильно размахнулась, и тонкая красная полоска, будто кровь, выступила на моей руке.— Теперь уж во всяком случае не пойду! — ответил я, будто шутя и в то же время слегка рассерженный. Но, разгневанная не на шутку, она повелительно сказала:— Идемте! Сейчас же!— И когда я, из упрямства, не двинулся с места, она еще раз ударила меня, и на этот раз еще сильнее. Я почувствовал острую, жгучую боль. Я гневно вскочил, чтобы вырвать у нее ветку. Она сделала прыжок, но я схватил ее за руку. Наши полуобнаженные тела невольно соприкоснулись в борьбе за обладание веткой. Крепко держа ее за руку, я повернул ее в суставе, чтобы заставить ее выпустить ветку. Она наклонилась назад — вдруг раздался легкий треск: у нее на плече оборвалась застежка купального костюма; левая половина его упала, обнажив грудь. На мгновение я остановил на ней свой взор и смутился. Дрожа и стыдясь, я отпустил ее руку. Она, покраснев, отвернулась, чтобы шпилькой кое-как поправить беспорядок. Я стоял, как вкопанный, не находя слов. Она тоже молчала. И с этой минуты установилось между нами какое-то томительное беспокойство, заглушить которое нам не удалось.

— Алло... алло... Где же вы? — слышались голоса с маленького острова. — Иду, — ответил я поспешно и бросился в воду, воспользовавшись случаем выйти из затруднительного положения. Сделав несколько движений, я испытал захватывающее наслаждение. Прозрачная прохлада неосязаемой стихии быстро рассеяла опасное возбуждение, и ропот крови уступил место более сильному и светлому чувству. Я быстро догнал их, вызвал доцента на целый ряд состязаний, в которых я неизменно оставался победителем, и мы поплыли обратно к косе, где жена моего учителя ожидала нас, уже одетая. Разобрав привезенные с собой корзины с провизией, мы устроили пикник. Весело и оживленно текла беседа, но мы оба невольно избегали обмена репликами. И если случайно встречались наши взоры, мы поспешно отводили их друг от друга, под влиянием одного и того же неприятного чувства; еще не сгладились ощущение неловкости от происшедшего инцидента, и каждый из нас вспоминал о нем со стыдливым беспокойством.

Время летело незаметно. Подкрепившись, мы снова сели в лодки, но спортивный пыл постепенно уступал место сладостному утомлению: вино, жара, солнечные лучи просачивались в кровь и придавали тяжесть телу. Доцент и его подруга уже позволяли себе маленькие интимности, которые вызывали в нас чувство неловкости; чем ближе придвигались они друг к другу, тем ревнивее хранили мы известную отдаленность; оставаясь с глазу на глаз, когда, во время прогулки в лесу, жених и невеста отставали от нас, чтобы обменяться поцелуями, мы испытывали смущение, и разговор наш прерывался. В конце концов, все были довольны, когда снова очутились в поезде, — они — в предвкушении вечера, сулившего им новые радости, а мы — в надежде выйти, наконец, из этого неловкого положения.

Доцент и его подруга проводили нас до нашего дома. На лестницу мы подымались одни. Едва мы вошли в дом, меня снова охватила мучительная мысль о нем. «Если бы он уже вернулся!», подумал я с тоской, и, как будто прочитав на моих устах этот невидимый вздох, она проговорила: — Посмотрим, не вернулся ли он?

Мы вошли. В квартире — тишина. В его комнате запустение. Невольно рисовало мое больное воображение его подавленную, трагическую фигуру в пустом кресле. И снова нахлынуло прежнее чувство озлобления: почему он уехал, почему покинул меня? Все яростнее подступал к горлу ревнивый гнев. Снова глухо бушевала во мне нелепая жажда причинить ему боль, выказать ему свою ненависть.

Его жена неотступно следила за мной. — Мы поужинаем вместе. Вы не должны сегодня оставаться в одиночестве. — Откуда она знала, что я боялся своей пустой комнаты, содрогался от скрипа лестницы, от гложущих душу воспоминаний? Все она угадывала во мне, каждую невысказанную мысль, всякое злое побуждение.

Какой-то непонятный страх обуял меня, страх перед самим собой, перед туманящей мыслью ненавистью к нему. Я хотел отказаться. Но струсил и остался.

* * *

Супружеская измена всегда внушала мне отвращение, — но не из нравственного педантизма, не из лицемерного чувства приличия, даже не потому, что прелюбодеяние всегда является воровством, присвоением чужого тела, — но, главным образом, потому, что всякая женщина в такие минуты предает другого человека, каждая становится Далидой, вырывающей у обманутого тайну его силы или его слабости, чтобы выдать его врагу. Предательством

кажется мне не то, что женщина отдается сама, но то, что, в свое оправдание, она с другого срывает покрывало стыда; неподозревающего измены, спящего она отдает на посмешище язвительному любопытству торжествующего соперника.

И потому самой недостойной низостью в моей жизни кажется мне не то, что, ослепленный безграничным отчаянием, я искал утешения в объятиях его жены, — с роковой неизбежностью, без участия воли, мгновенно переплавилось ее сострадание в иное влечение; оба мы, сами того не сознавая, ринулись в эту пылающую бездну, — нет, низостью было то, что я позволил ей рассказывать мне о нем самое интимное, выдать мне тайну их супружества. Зачем я не запретил ей говорить мне о том, что годами он избегал физической близости с нею, и делать какие-то смутные намеки? Зачем не прервал ее властным словом, когда она выдавала мне самую интимную его тайну? Но я так жаждал узнать о нем все, мне так хотелось уличить его в неправоте по отношению ко мне, к ней, ко всем, что я с упоением выслушивал эти гневные признания, — ведь это было так похоже на мои собственные переживания — переживания отвергнутого! Так случилось, что мы оба, из смутного чувства ненависти, совершили деяние, облеченное в личину любви; в то время как сливались воедино наши тела, мы думали и говорили о нем, только о нем. Временами ее слова причиняли мне боль, и мне было стыдно, что, ненавидя, я впадал в соблазн. Но тело уже не повиновалось моей воле; неудержимо оно отдавалось страсти. И, содрогаясь, я целовал губы, предавшие его.

* *
*

На другое утро я поднялся к себе, полный жгучего стыда и отвращения. Теперь, когда не опьянила меня бли-

зость ее горячего тела, мерзость моего предательства встала предо мной во всей своей неприкрытой наготы. Никогда больше — я это чувствовал — я не посмею взглянуть ему в глаза, пожать его руку: не его я ограбил, а себя — себя лишил самого ценного своего достояния.

Оставалось только одно спасение: бегство. Лихорадочно я стал укладывать свои вещи, книги, уплатил хозяйке; он не должен меня застать; я должен исчезнуть, без видимого повода, таинственно, как исчезал он. Но посреди поспешных сборов руки мои вдруг оцепенели: я услышал скрип лестницы и торопливые шаги — его шаги.

Должно быть, я был бледен, как мертвец: во всяком случае, он испугался.

— Что с тобой, мальчик? Ты нездоров? — спросил он.

Я отшатнулся. Я уклонился от него, когда он хотел меня поддержать.

— Что с тобой? — повторил он испуганно. — С тобой что-нибудь случилось? Или... или... ты еще сердисься на меня?

Судорожно я держался за подоконник. Я не мог смотреть на него. Его теплый, участливый голос растревал мою рану; я был близок к обмороку; я чувствовал, как разливается во мне пламенный поток стыда — горлчий, пылающий, — обжигая и сжигая меня.

Он стоял, изумленный, в смущении. И вдруг — так робко, почти шопотом он задал странный вопрос:

— Может быть... тебе... что-нибудь... рассказали обо мне?

Не поворачиваясь к нему лицом, я сделал отрицательный жест. Но им, казалось, овладело какое-то опасение; он настойчиво повторял:

— Скажи мне... сознайся... тебе что-нибудь... рассказали обо мне... кто-нибудь... я не спрашиваю, кто.

Я отрицательно мотал головой. Он стоял, растерянный. Но вдруг он заметил, что мои чемоданы уложены, книги собраны и что своим приходом он прервал последние приготовления к отъезду. Взволнованно он приблизился ко мне:

— Ты хочешь уехать, Роланд? Я вижу... скажи мне правду.

Я взял себя в руки.

— Я должен уехать... простите меня... но я не в силах об этом говорить... я напишу вам.

Больше ничего я не мог выдавить из судорожно сжатого горла, и каждое слово отдавалось болью в сердце.

Он оцепенел. Но вот вернулся к нему его усталый, старческий облик.

— Может быть, так лучше, Роланд... — заговорил он. — Да, наверное, так лучше... для тебя и для всех. Но раньше чем ты уйдешь, я хотел бы еще раз побеседовать с тобой. Приходи в семь часов, в обычное время... тогда мы простимся, как подобает мужчине с женщиной. Только не нужно бегства от самих себя... не нужно писем... то, что я тебе скажу, не поддается перу... Так ты придешь, не правда ли?

Я только кивнул головой. Мой взор все еще был обращен к окну. Но я не замечал утреннего блеска: густая, темная вуаль повисла между мной и миром.

* * *

В семь часов я в последний раз вошел в комнату, которую я так любил. Сквозь портьеры спускались сумерки; из глубины струилась белизна мраморных фигур; книги в черных переплетах тихо покоились за переливающимся перламутровым блеском стекол. Святилище моих воспоминаний, где слово впервые стало для меня магическим; где

я испытал впервые восторг и опьянение духовного мира! Всегда я вижу тебя в этот час прощания и вижу любимый образ: вот он медленно встает с кресла и приближается ко мне, словно призрак. Только выпуклый лоб выделяется, как алебастровая лампада, на темном фоне комнаты, и над ним развеваются, как белый дым, седые волосы. И с трудом поднимается его рука навстречу моей. Теперь я узнаю этот обращенный ко мне серьезный взгляд и чувствую прикосновение его пальцев, мягко обхватывающих мою руку и усаживающих меня в кресло.

— Садись, Роланд, давай поговорим откровенно. Мы мужчины и должны быть искренни. Я не принуждаю тебя, но не лучше ли будет, если последний час, проведенный вместе, принесет нам полную ясность? Скажи мне, почему ты уходишь? Ты сердишься на меня за нелепое оскорбление?

Я сделал отрицательный жест. Как убийственна была эта мысль, что он, обманутый, чувствует за собой какую-то вину!

— Может быть, я еще чем-нибудь невольно обидел тебя? Я знаю, у меня есть странности. И я раздражал, мучил тебя против своего желания. Я никогда не говорил, как я благодарен тебе за твое участие, — я это знаю, знаю; я знал это всегда, — даже в те минуты, когда причинял тебе боль. Это ли послужило причиной, — скажи мне, Роланд, — мне бы хотелось проститься с тобой честно.

Опять я отрицательно покачал головой: я не мог вымолвить ни слова. До сих пор его голос был тверд; но теперь он слегка вздрогнул.

— Или... я спрашиваю тебя еще раз... тебе рассказали обо мне что-нибудь... что-нибудь, что кажется тебе низким, отталкивающим... что-нибудь... что меня... что внушает тебе презрение ко мне?

— Нет!.. нет!.. нет... — вырвалось, словно рыдание, из моей груди: презирать! его!

Нетерпение послышалось в его голосе:

— В чем же дело?... Что же это может еще быть?... Ты устал от работы? Или что-то другое заставляет уехать?... Может быть, женщина... не женщина ли?

Я молчал. И в этом молчании было что-то, что открыло ему глаза. Он подвинулся ближе и прошептал совсем тихо, но без всякого волнения и гнева:

— Да, это женщина?... моя жена?

Я все еще хранил молчание. И он понял. Дрожь пробежала по моему телу: теперь, теперь, вот сейчас разразится, сейчас он бросится на меня, поколотит, накажет меня... и я почти жаждал этого, я страстно желал, чтобы он побил меня кнутом, — меня — вора, изменника, чтобы он выгнал меня, как паршивую собаку, из своего опозоренного дома.

Но удивительно: он остался спокоен... и почти облегченно прозвучали слова, сказанные в раздумьи, как бы самому себе: — Так это и должно было случиться. — Он прошелся по комнате и, остановившись передо мной, сказал почти презрительно:

— И это... это ты так тяжело переживаешь? Разве она не сказала тебе, что она свободна; что может делать все, что ей угодно, что я не имею на нее никакого права... не имею ни права, ни желания что-либо запрещать ей? И почему бы ей поступить иначе? Ты молодой, яркий, прекрасный... ты был нам близок... Как ей было не полюбить тебя... тебя... прекрасного... юного?... Как ей было не полюбить тебя? Я... — Его голос вдруг задрожал. И он наклонился близко-близко ко мне — так, что я почувствовал его дыхание. И опять я был охвачен его теплым, обволакивающим взглядом с тем же удивительным блеском,

как в те редкие, единственные минуты; все ближе и ближе он наклонялся ко мне.

И тихо шепнул, едва шевеля губами:

— Я... я ведь тоже люблю тебя.

☞ Содрогнулся ли я? Или невольно отшатнулся? Во всяком случае, изумленный испуг выразился в моей мимике, потому что он вздрогнул, будто от удара. Тень омрачила его лицо.

— Теперь ты презираешь меня? — спросил он совсем тихо. — Я тебе противен?

Почему я не нашел ни одного слова в ответ? Почему я сидел, онемелый, чужой, ошеломленный, вместо того, чтобы подойти к нему, успокоить, утешить его? Но во мне бушевали воспоминания; вот он — шифр к языку этой загадочной смены настроений. Все я понял в это мгновение: порывы нежности и схватки тяжелой борьбы с опасным чувством, его одиночество и тень вины, грозно витавшей над ним; потрясенный, я понял его ночное посещение и озлобленное бегство от моей навязчивой страстности. Он любит меня... Я ощущал ее все время, эту любовь, нежную и робкую, то неодолимую, то с трудом подавляемую; я наслаждался ею, я ловил каждый мимолетно брошенный ею луч, — и все же, эти слова, так чувственно и нежно прозвучавшие мне из уст мужчины, пробудили во мне ужас — грозный и в то же время сладостный. И, горя состраданием, смущенный, дрожащий, захваченный врасплох мальчик, я не нашел ни одного слова в ответ на его внезапно открывшуюся страсть.

Он сидел неподвижно, уничтоженный моим безмолвием.

— Неужели, неужели это так ужасно! — шептал он. — И ты... даже ты не можешь простить мне это... даже ты, перед кем я молчал так упорно, что едва не задохнулся... никогда ни от кого я не тайлся с такой решимостью...

Но хорошо, что ты знаешь теперь, это хорошо... так лучше... это было слишком тяжело для меня... невыносимо... надо, надо покончить с этим.

Сколько грусти, сколько стыдливой нежности было в этом признании! До глубины души проникал этот вздрагивающий голос. Мне было стыдно моего холодного, бесчувственного, жестокого безмолвия перед этим человеком, который дал мне так много, как не давал никто, а теперь сидел передо мной — трепещущий, униженный сознанием своей мнимой вины. Я сторал от жажды сказать ему слово утешения, но губы не подчинялись моей воле, и так смущенно, так растерянно я сидел, согнувшись в кресле, что он, наконец, взглянул на меня почти с досадой.

— Не сиди же, Роланд, как онемелый... Возьми себя в руки... Разве это в самом деле так ужасно? Тебе так стыдно за меня? Все ведь прошло, я признался тебе во всем... давай простимся, по крайней мере, как подобает мужчинам, друзьям.

Но я все еще не владел собой. Он прикоснулся к моей руке.

— Иди сюда, Роланд, сядь ко мне. Мне стало легче теперь, когда ты знаешь все, когда между нами нет недоговоренности. Сперва я опасался, что ты угадаешь, как я люблю тебя... потом я уже надеялся, что ты угадаешь и избавишь меня от этого признания... Но теперь ты знаешь, и я могу говорить с тобой, как ни с кем другим. Ты был мне ближе, чем кто-либо, за все эти годы... ты был мне дороже всех... Только ты, дитя, ты один сумел ощутить мой жизненный пульс. И теперь, на прощанье... на прощанье ты должен узнать обо мне больше, чем всякий другой... Ты один узнаешь всю мою жизнь... Хочешь я расскажу тебе свою жизнь?

В моем взоре, полном смущения и участия, он прочитал ответ.

— Садись... сюда, ко мне... я не могу говорить об этом громко.

Я наклонился к нему — я бы сказал — с благоговением. Но едва, весь превратившись в слух, я сел против него, как он опустил руку, заслонявшую лицо, и поднялся с места.

— Нет, так я не могу... Ты не должен видеть меня... а то... а то я не смогу говорить. — И внезапно он потушил свет.

Нае охватила тьма. Я чувствовал его близость, его дыхание, с усилием и хрипом вырывавшееся во мрак. И вот встал между нами голос и рассказал мне всю его жизнь.

* * *

С того вечера, когда этот замечательный человек раскрыл передо мной, будто морскую раковину, свою судьбу, игрушечным кажется мне все, о чем рассказывают писатели и поэты, все, что мы привыкли в книгах считать необыкновенным и на сцене — трагическим. Из лени, трусости или недостаточной провидательности, наши писатели рисуют только верхний, освещенный слой жизни, где чувства выявляются открыто и умеренно, в то время как там, в погребах, в вертепах и клоаках человеческого сердца, разгораются, фосфорически вспыхивая, самые опасные животные страсти; там, во тьме, они взрываются и вновь сочетаются в самые причудливые сплетения. Пугает ли писателей запах гниения, или они боятся загрязнить свои изнеженные руки прикосновением к этим гнойникам человечества, или их взор, привыкший к свету, не различает этих скользких, опасных, гнилью проеденных ступеней? Но для прозревшего ни с чем не сравнима радость созерцания этих глубин; нет для него трепета

более сладостного, чем тот, который вызывается этим созерцанием, и нет страдания более священного, чем то, которое скрывает себя из стыдливости.

Но здесь человек раскрыл свою душу во всей ее наготы; здесь разрывалась человеческая грудь, обнажая разбитое, отравленное, сожженное, гниющее сердце. Буйное сладострастие иступленно бичевало себя в этом годами, десятилетиями сдерживаемом признании. Только тот, кто всю свою жизнь провел под гнетом вынужденной скрытности и унижения, мог с таким упоением изливаться в этих неумолимых признаниях. Кусок за куском вырывалась из груди человека его жизнь, и в этот час я, мальчик, впервые заглянул в бездонные глубины земного чувства.

Вначале голос его бесплотно витал в пространстве — смутный угар чувств, отдаленное предвестие таинств; но уже слышалось в нем мучительное заклятие хаотического взрыва — как мощные, замедленные такты, предвещающие бешеную бурю ритма. Но вот из урагана страсти судорожно засверкали образы, постепенно проясняясь. Я увидела мальчика — робкого, замкнутого мальчика, который не решается даже заговорить с товарищами; но страстное физическое влечение толкает его к самым красивым в школе. С гневом встречает один из них неумеренные проявления его нежности, другой издевается над ним в отвратительно откровенных выражениях; но что ужаснее всего: оба они разболтали об его противоестественном влечении. И вот, как по уговору, товарищи подвергают его унижительным издевательствам и, будто прокаженного, единодушно изгоняют из своего веселого общества. Ежедневный крестный путь в школу; тревожные ночи, полные отвращения к самому себе. Как безумие, как унижительное бремя, ощущает отверженный свою извращенную страсть, раскрывшуюся в мечтах.

Дрожит повествующий голос; было мгновение, когда казалось, что сейчас он растворится во тьме. Но вот, вместе со вздохом, вырывается он из груди, и вновь вспыхивают в густом дыму призрачные видения. Мальчик вырос, стал студентом. Он в Берлине. Подземный город впервые дает ему возможность удовлетворить извращенное влечение. Но как отвратительны, отравлены боязнь были эти встречи в темных закоулках, в тени мостов и вокзалов! Как бедны наслаждением и как ужасны своей опасностью! Большой частью они кончались унижительным вымогательством, на долгие недели оставляя за собой тягучий след леденящего душу страха. Вечное блуждание между светом и мраком: ясный рабочий день погружает ученого исследователя в кристально-прозрачную стихию духовности, а вечер снова толкает раба своей страсти на окраины города, в сомнительное общество товарищей, которых обращает в бегство каска встречного шудмана, в наполненные дымом пивные, недоверчивая дверь которых открывается только перед условной улыбкой. И нечеловеческое напряжение воли требуется для того, чтобы скрывать эту двуликость — в течение дня безупречно сохранять достоинство доцента, а ночью неузнанным странствовать по подземельям, отдаваясь постыдным приключениям в тени робко мигающих фонарей. Снова и снова пытается он, измученный, бичом самообладания загнать свою непокорную страсть на путь естественного удовлетворения; снова и снова увлекает его опасный мрак. Десять, двенадцать, пятнадцать лет терзающей нервы борьбы с невидимой магнетической силой непреодолимой склонности проходят, как одна сплошная судорога. Наслаждение, не приносящее удовлетворения, гнетущий стыд и омраченный взор, робко прячущийся перед собственной страстью.

Наконец, уже поздно, на тридцать первом году жизни — насильственная попытка стать на естественный путь. У одной родственницы он познакомился со своей будущей женой: загадочность его натуры пробудила в молодой девушке искреннюю симпатию. Своей мальчишеской внешностью и юношеским задором она сумела на короткое время привлечь к себе его страсть, которую возбуждал до тех пор только мужской полюс. Мимолетная связь удается, сопротивление женскому началу, казалось, преодолено, и, в надежде, что таким путем ему удастся победить противоестественное влечение, он спешит бросить якорь там, где впервые нашел опору в борьбе с опасным недугом, и, после откровенного признания, он женится на молодой девушке. Он уверен, что возврата к прежней жизни нет. Первые недели укрепляют в нем эту уверенность. Но затем быстро настает конец кратковременному увлечению; врожденная страсть повелительно предъявляет свои требования. После непродолжительного сопротивления жена, обманувшая его ожидания и сама обманутая, становится только ширмой, скрывающей от глаз общества возврат к застарелой привычке. И снова спускается он по скользкому пути, на рубеже закона и общественных условностей, в опасный мрак.

И к внутренней смуте присоединяется еще особая пытка: круг его деятельности обращает его влечение в настоящее проклятие. Для доцента, а вскоре — ординарного профессора, постоянное общение с молодыми людьми является служебной обязанностью. Какое искушение — постоянно видеть вокруг себя цвет юности — эфэбов невидимого гимназиума¹ в мире прусских параграфов. И — новое

¹ Гимназиумы — учреждения для гимнастических упражнений в древней Греции; эфэб — по-гречески «юноша». — *Прим. перев.*

проклятие, новые опасности! — все страстно любят его, не замечая скрытого под маской лица Эроса. Каждый из них счастлив, если его рука (с затаенной дрожью) случайно коснется его; они расточают перед ним свой восторг, невольно вводя его в соблазн. Муки Тантала! — опускать руку, когда исполнение страстных желаний, казалось бы, так близко! Вечно жить в бесперывной борьбе с собственной слабостью! Случалось, что кто-нибудь из этих молодых людей слишком неумеренно возбуждал его чувство, силы изменяли ему, — и тогда он обращался в бегство. Вот, чем объяснялись его внезапные исчезновения, которые так смущали меня. Теперь встал перед моими глазами ужасный путь этого бегства от самого себя. Он отправлялся в один из больших городов, где, в укромном месте, он находил наперсников. Унизительные встречи, продажные тела, разврат вместо любви; но это омерзение, это болото, это ядовитое противоядие были ему необходимы, чтобы дома, в тесном кругу студентов, быть уверенным в своем самообладании и в их неведении. Боже! что за встречи, что за призрачные и вместе с тем насквозь человеческие образы! И этот человек, стоящий на вершине духовной культуры, человек, для которого красота форм была необходима, как воздух, этот благородный повелитель чужих чувств должен был подвергаться самым отвратительным унижениям в накуренных, переполненных притонах, куда впускают только посвященных. Он был знаком с нагими требованиями накрашенных молодых людей с бульваров, знал слащавую интимность надушенных парикмахерских подмастерьев, возбужденное хихиканье травести, кокетничавших в женских нарядах, свирепую алчность бродячих комедиантов, похотливое безвкусие светловолосых кельнеров из трактиров предместья, неуклюжую нежность жующих табак матросов — все эти боязливые, извращенные.

фантастические формы, в которых заблудший пол отыскивает и узнает сотоварищей. Все унижения, весь стыд и всякое насилие встретились ему на этом скользком пути: не раз его обкрадывали до последней нитки (он был слишком слаб и слишком благороден, чтобы вступать в драку с конюхом); он возвращался домой без часов, без пальто, осмеянный и оплеванный пьяным товарищем по трактиру. Вымогатели следовали за ним по пятам; один из них выслеживал его шаг за шагом целыми месяцами, садился в аудитории на первую скамью и с наглой улыбкой смотрел на профессора, которому с трудом удавалось связать слова. Однажды, — сердце замерло у меня, когда он говорил об этом, — ночью, в Берлине, в одном из таких баров, он, в числе других, был захвачен полицией; с самодовольной, насмешливой улыбкой откормленный, краснощекий вахмистр, обрадовавшись случаю поиздеваться над интеллигентным человеком, записал его имя и звание и, наконец, милостиво объявил ему, что на этот раз он будет отпущен безнаказанным, но имя его будет занесено в особый список. И как к платью человека, проводящего время в трактирах, пристаёт спиртной запах, так постепенно здесь, в его городе, из неизвестного источника, распространилась глухая молва, связанная с его именем. Точно так же, как некогда в школе, так теперь, в кругу его коллег, все холоднее становились слова и поклоны, пока, в конце концов, и здесь не образовалась между ним и внешним миром та же стеклянная прозрачная стена отчужденности. И при всем своем одиночестве, у себя дома, за семью замками, он чувствовал, что его разгадали, что за ним следят.

Но никогда его измученное, истрадавшееся сердце не испытало радости обладания искренним, благородным другом; ни разу его мощная мужская нежность не встретила

достойного ответа. Постоянно ему приходилось делить свое чувство между нежно-томлящим духовным общением с юными университетскими товарищами и ласками скрывающихся в темноте ночных наперсников, о которых он не мог вспомнить без содрогания на следующее утро. Никогда не пришлось ему, уже стареющему, испытать чистую привязанность юноши, и, утомленный разочарованиями, с нервами, расшатанными от блужданий в этой тернистой чаще, он замкнулся в себе. И вот еще раз вступает в его жизнь молодой человек, страстно привязавшийся к нему, уже состарившемуся, радостно отдавший себя ему словом и делом. В испуге он смотрел на свершившееся чудо: достоин ли он такого чистого, такого неожиданного дара? Еще раз явился к нему посланник юности — чарующий облик, страстное сердце, пылающее для него духовным огнем, нежно привязанное к нему, жаждущее его любви и не предчувствующее кроющейся в ней опасности. С факелом Эроса в руке, в смелом неведении, подобно глупцу Парсифалю,¹ он наклоняется к отравленной ране. Не зная о волшебстве, не зная, что уже самый его приход приносит исцеление, так поздно, в вечерний час угасания, вошел он в дом, долгожданный, в течение целой жизни ожидаемый.

И, повествуя об этом образе, оживился окутанный мраком голос. Светлые ноты пронизали его. Глубокая,

¹ Парсифаль — герой средневековой легенды о св. Граале, послужившей темой для музыкальной мистерии Вагнера «Парсифаль». Парсифаль — «святой простец», освободивший из рук волшебника Клингзора «Копье Грааля» или «Копье Страстей» — копье, которым был поражен распятый Христос. Этим копьем Парсифаль исцелил хранителя Грааля Амфортаса, который был наказан отравленной раной за то, что, отдавшись греховной страсти, не сумел уберечь копье от Клингзора. — *Прим. перев.*

окрыляющая нежность звучала музыкой, когда вдохновенные уста заговорили об этом юноше, об этой поздней, последней любви. Я дрожал, охваченный его волнением, его восторгом, — но вдруг будто молот ударил по моему сердцу: этот пламенный юноша, о котором говорил мой учитель, был я! Будто в пылающем зеркале, я видел свой образ, облеченный горячим блеском неподозреваемой любви, — даже отсвет ее обжигал меня. Да, это был я, — все отчетливее я узнавал эту настойчивую страстность, восторженную жажду его постоянной близости, безудержный экстаз, не удовлетворяющийся духовным общением; я узнал себя, глупого, буйного мальчика, который, в неведении своей силы, еще раз пробуждает в отрешившемся от жизни богатый источник творчества, еще раз зажигает в его душе факел Эроса. С изумлением я узнал, чем я был для него, — я, робкий юноша, навязчивый энтузиазм которого он любил, как самую святую отраду своей старости. И с ужасом я узнал, с какой нечеловеческой силой боролась в нем воля с соблазном: ибо как-раз от меня, любимого чистой любовью, больше всего он боялся испытать издевательство, отвращение, содрогание оскорбленного тела. Эту последнюю милость жестокой судьбы он не хотел отдать на поругание чувственным инстинктам. С ужасающей ясностью обнажились передо мной все его загадочные поступки: он хотел во что бы то ни стало скрыть от меня эту тайну Медузы.¹ Вот почему он так ожесточенно сопротивлялся моей навязчивости, охлаждал мое бурное чувство ледящей иронией, резко заменял интимный тон условной сдержанностью, укрощал нежное при-

¹ Медуза — в греческой мифологии одна из трех горгон — страшных существ, обладавших взором, от которого люди окаменевали. — *Прим. перев.*

косновение руки — только ради меня принуждал он себя к суровости, — чтобы отрезвить меня и уберечь самого себя, — а ведь все это нарушало мой душевный мир на целые недели. И с той же ослепительной очевидностью я понял эту ночь, когда, не в силах подавить бурную чувственность, он, словно лунатик, подымался ко мне по скрипучей лестнице, чтобы оскорбительным словом спасти нашу дружбу. И, содрогаясь, рыдая без слез, изнывая от жалости к нему, растроганный, в лихорадочном возбуждении, я понял, сколько он выстрадал из-за меня, как героически переносил эти страдания.

О, этот голос, звучавший во мраке! Как проникал он в самую глубь моей души! Таких звуков я никогда больше не слышал: они шли из недостижимых глубин; их не знает обыкновенный человеческий удел. Так говорить мог человек только раз в жизни, подобно лебедю, который, по преданию, поет только раз — перед смертью. И этот голос, жгучий, пылающий голос, я принял в душу с трепетом и болью, как женщина принимает мужа в свое лоно.

* *
*

И внезапно умолк этот голос, и только тьма соединяла нас. Я ощущал его близость, — он был от меня на расстоянии ладони. И он почувствовал мое неудержимое желание сказать ему слово утешения.

Но он сделал движение, — зажегся свет. Утомленный, старый, измученный, поднялся он с кресла. Медленными шагами приближался ко мне старик.

— Прощай, Роланд... Больше ни слова! Все между нами сказано! Хорошо, что ты пришел... и хорошо для нас обоих, что ты уходишь... Прощай... и позволь мне... поцеловать тебя на прощанье!

Магическая сила толкнула меня ему навстречу. В его глазах ясно светился яркий, обычно затуманенный огонь; он сверкал обжигающим светом. Он привлек меня, его губы жадно впились в мои губы; нервно, судорожно он прижал меня к себе.

На моих губах запечатлелся поцелуй, какого не дарила мне ни одна женщина, — жгучий и полный отчаяния, как предсмертный стон. Судорожный трепет его тела передался мне; я содрогался от неистово-грозного, двойственного ощущения: отдаваясь ему всем существом, я в то же время был преисполнен протеста против столь близкого прикосновения мужского тела, — тягостное смятение чувств, превратившее краткое мгновение в целую вечность.

Он выпустил меня из своих объятий, — будто какая-то внешняя сила оторвала одно тело от другого, — с трудом отвернулся и бросился в кресло, спиной ко мне. Неподвижно он смотрел перед собой в пространство. Но постепенно голова его будто отяжелела; она склонялась все ниже и ниже и, наконец, как тяжесть, долго качавшаяся над пропастью, с глухим звуком, внезапно опустилась на письменный стол.

Чувство бесконечной жалости охватило меня. Невольно я приблизился к нему. Но вдруг выпрямилась сгорбленная спина, и, отвернувшись от меня, из-за ограды сомкнутых рук он угрожающе простонал:

— Уходи!.. уходи!.. не надо... не надо... ради бога... пощади нас обоих... иди теперь... иди!

Я понял. С трепетом я отступил. Как беглец, оставил я милую комнату.

* * *

Никогда больше я не встречал его. Никогда не получал от него ни письма, ни устной вести. Его сочинение не

появилось, имя его забыто; никто, кроме меня, его не помнит. И теперь вновь, как некогда, еще неопытный мальчик, я чувствую: отец и мать до встречи с ним, жена и дети, после этой встречи, не возбуждали во мне столь глубокого чувства благодарности. Никого я не любил так, как любил его.

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
Двадцать четыре часа из жизни женщины	13
Закат одного сердца	85
Смятение чувств	123

КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ»

Ленинград, Стремянная, д. 4. Тел. 184-61

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
СТЕФАНА ЦВЕЙГА

АВТОРИЗОВАННОЕ ИЗДАНИЕ

единственное на русском языке, разрешенное автором,

с предисловиями

М. ГОРЬКОГО

И АВТОРА,

специально написанными для русского издания, с критико-биографическим очерком Рихарда Шпехта (Вена) и портретом автора, сделанным для Изд-ва «Время» **ФРАНЦЕМ МАСЕРЕЛЬ** (Париж).

- Т. I. ЖГУЧАЯ ТАЙНА.** *Содержание:* Рассказ в сумерках.— Губернантка.— Жгучая тайна.— Летняя новелла.
Изд. 3-е. Стр. 208. Ц. 1 р. 20 к., в переплете 1 р. 50 к.
- Т. II. АМОК.** *Содержание:* Амок.— Женщина и ландшафт.— Фантастическая ночь.— Письмо незнакомки.— Улица в лунном свете.
Изд. 3-е. Стр. 256. Ц. 1 р. 50 к., в пер. 1 р. 80 к.
- Т. III. СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ.** *Содержание:* Двадцать четыре часа из жизни женщины.— Закат одного сердца.— Смятение чувств.
Изд. 3-е. Стр. 224. Ц. 1 р. 30 к., в переплете 1 р. 60 к.
- Т. IV. НЕЗРИМАЯ КОЛЛЕКЦИЯ.** *Содержание:* Лепорелла.— Незримая коллекция.— Принуждение.— Случай на Женевском озере.— Страх.— Тайна Байрона.
Изд. 3-е. Стр. 192. Ц. 1 р. 20 к., в переплете 1 р. 50 к.
- Т. V. РОКОВЫЕ МГНОВЕНИЯ.** *Содержание:* Легенда о сестрах-близнецах.— Глаза извечного брата.— Лионская легенда.— Роковые мгновения: Миг Ватерлоо.— Маренбургская элегия.— Открытие Эльдорадо.— Смертный миг.— Борьба за южный полюс.
Изд. 2-е. Стр. 176. Ц. 1 р. 20 к., в переплете 1 р. 50 к.
- Т. VI. ТРИ ПЕВЦА СВОЕЙ ЖИЗНИ.** Казанова.— Стендаль.— Толстой.
- Т. VII.** *Готовится к печати.*

КАТАЛОГ ИЗДАТЕЛЬСТВА ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО
ТРЕБОВАНИЮ БЕСПЛАТНО

КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ»

Ленинград, Стремянная, д. 4. Тел. 184-61

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
СТЕФАНА ЦВЕЙГА

ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:

«Стефан Цвейг—один из наиболее сейчас распространенных в Германии беллетристов—обязан своею популярностью действительно виртуозному литературному письму...».

«Печать и Революция», 1926 г. № 3.

«...Стефан Цвейг—один из лучших писателей Запада, и мы горячо рекомендуем его молодому поколению. Цвейг покоряет, прежде всего, своим литературным талантом. Самые щекотливые темы Цвейг передает иногда прямо с потрясающей силой, всегда с поразительной тонкостью и чуткостью».

«Смена», Ленинград, 16. V. 1927 г.

«Это только средневековье умело так взволнованно рассказывать о любви, страстной, всположающей любви, полной страдания и самоотречения, неразделенности и жертвенности... Но невольно приходит на ум именно эти средневековые легенды, когда зачитаешься рассказами Стефана Цвейга...».

«Красная Газета» веч. вып. Ленинград, 1925 г. № 312.

«...Автор подходит к своей теме с великой чистотой, с глубокой серьезностью и, всюду говоря об Эросе, никогда не унижается до низменной эротики...».

«Жизнь Искусства», Ленинград, 1925 г. № 29.

«Стефан Цвейг—прирожденный художник, творчество которого не зависит от войны или мира. Лирик, новеллист, критик, драматург, рассказчик и переводчик, Стефан Цвейг рано достиг известности, заставляя с высоким мастерством звучать любую струну...».

«Красная Газета», веч. вып. Ленинград, 1927 г. № 37.

КАТАЛОГ ИЗДАТЕЛЬСТВА ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО
ТРЕБОВАНИЮ БЕСПЛАТНО

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

БЕККАРИ, ДЖИЛЬБЕРТО. — Девственная жизнь.

Роман. Предисловие Бласко Ибаньеса. Перевод под ред. М. Лозинского. Стр. 208. Ц. 1 р. 45 к.

БЕРГЕР, ХЕННИНГ. — Изаиль.

Роман. Перевод со шведского под ред. К. М. Жихаревой. Стр. 160. Ц. 1 р. 10 к.

БУРЖЕ, ПОЛЬ. — Любовь Мишелины.

Роман. Перевод под ред. А. А. Смирнова. Стр. 232. Ц. 1 р. 50 к.

БЪЯРНЕ, Ив. — Вилла Виктория.

Перевод Е. Э. и Г. П. Блок. Стр. 144. Ц. 1 р.

ВАН-ОФФЕЛЬ, Г. — Яванская Роза.

Роман. Перевод Е. Э. и Г. П. Блок. Стр. 100. Ц. 70 к.

ГУХ, РИКАРДА. — Дело доктора Деруги.

Роман. Перевод под ред. А. Г. Горнфельда. Стр. 224. Ц. 1 р. 40 к.

ДАУДИСТЕЛЬ, АЛЬБЕРТ. — Закрыто по случаю траура.

Роман. Перевод под ред. В. А. Зоргенфрея. Стр. 132. Ц. 90 к.

ДЮАМЕЛЬ, ЖОРЖ. — Принц Жаффар.

Перевод под ред. Н. Н. Шульговского. Стр. 232. Ц. 1 р. 10 к.

ЖОЛИНОН, ЖОЗЕФ. — Случай в Корпюско.

Перевод под ред. Р. Ф. Куллэ. Стр. 152. Ц. 1 р.

ИСТРАТИ, ПАНАИТ. — Нерантсула.

Роман. Перевод Ек. Летковой. Стр. 112. Ц. 75 к.

КИМБОЛЛ, ПОЛЬ. — Миссис Меривель.

Роман. Перевод Марка Волосова. Стр. 264. Ц. 1 р. 75 к.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

КОШТОЛАНИ, Д. — Кровавый поэт.

Роман. Перевод Е. Бак. Стр. 256. Ц. 1 р. 75 к.

ЛА МАЗБЕР, ПЬЕР. — Меня пышно похоронят.

Роман. Перевод З. Львовского. Стр. 208. Ц. 1 р. 10 к.

ОДУ, МАРГАРИТА, — Хромоножка.

Роман. Перевод под ред. Р. Куллэ. Стр. 216.
Ц. 1 р. 40 к.

ПАРРИШ, АНН. — Вечный холостяк.

Роман. Перевод М. И. Ратнер. Стр. 256. Ц. 1 р. 75 к.

СТРИБЛИНГ, Т. — Тифталоу.

Роман. Перевод М. Волосова. Стр. 272. Ц. 1 р. 85 к.

СТРИБЛИНГ, Т. — Красный песок.

Роман. Перевод М. Волосова. Стр. 248. Ц. 1 р. 50 к.

ТЭМПЛ СЭРСТОН. — Непримириемые.

Роман. Перевод А. Каргужанской. Стр. 256.
Ц. 1 р. 60 к.

ТЭППЕР, ТРИСТРЕМ. — Джоргенсен.

Роман. Перевод М. Волосова. Стр. 164. Ц. 1 р. 10 к.

ФОРБЭН, В. — Фея снегов.

Роман. Перевод А. и Н. Зельдович. Стр. 224.
Ц. 1 р. 35 к.

ФРАНК, УОЛЬДО. — Перекресток.

Перевод Е. Э. и Г. П. Блок. Стр. 112. Ц. 85 к.

ФЕВР, ЛУИ. — Тум.

Роман. Перевод А. и Л. Поляк. Стр. 164. Ц. 1 р. 15 к.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

ХЕТЧИНСОН, А. — Когда наступает зима.

Роман. Перевод под ред. В. А. Зоргенфрея. Стр. 264.
Ц. 1 р. 65 к.

ХЕРГЕШЕЙМЕР, Д. — Тампико.

Роман. Перевод М. Волосова. Стр. 264. Ц. 1 р. 50 к.

ШЕРНСТЕД, М. — Фрекен Ливин.

Роман. Перевод Е. Н. Благовещенской. Стр. 192.
Ц. 1 р. 25 к.

ЭЛЬСЕР, Ф. — Жгучее желание.

Роман. Перевод под ред. Л. Домгера. Стр. 288.
Ц. 1 р. 80 к.

ЭСКОЛЬЕ, Р. — Кантегриль.

Перевод под ред. А. А. Смирнова. Стр. 180.
Ц. 1 р. 25 к.

ЭНТИН, М. — Обетованная земля.

Перевод Б. П. Спиро. Стр. 288. Ц. 1 р. 75 к.

ЭРЛАНД, А. — Преступление и его оправдание.

Роман. Перевод под ред. Г. А. Дюперрона. Стр. 160.
Ц. 1 р. 10 к.

ЭСТОНЬЕ, Э. — Вещи видят.

Роман. Перевод В. М. Вельского. Стр. 272. Ц. 1 р. 85 к.

ЭСТОНЬЕ, Э. — Лабиринт.

Роман. Перевод В. М. Вельского. Стр. 240. Ц. 1 р. 70 к.





